Сергей Цветков

НАЗВАННЫЙ ЛЖЕДМИТРИЕМ



XIV XV XVI 1582–1606 XVIII XIX XX

СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

Сергей Цветков
Названный Лжедмитрием

https://litres.ru/71726380
SelfPub; 2025

Аннотация

15 мая 1591 года в Угличе произошло событие, во многом предопределившее дальнейший ход русской истории. При загадочных обстоятельствах погиб восьмилетний царевич Дмитрий — последний отпрыск Ивана Грозного. А может, и не погиб — на этот счет у историков существуют различные мнения. От ответа на этот вопрос во многом зависит наше восприятие событий Великой русской смуты 1605–1613 годов. Кому присягнули русские люди в мае 1605 года — Самозванцу или же все-таки истинному царевичу Дмитрию? Кто был убит годом спустя и чьим прахом москвичи зарядили пушку и выстрелили в сторону Литвы — Лжедмитрия или же законного царя, последнего Рюриковича? И наконец, кто же был канонизирован под именем царевича Дмитрия — настоящий сын грозного царя или какой-то другой, неизвестный отрок?

Книга предназначена для широкой аудитории

Содержание

Часть первая. Спасенный царевич 6
Конец ознакомительного фрагмента. 126

Сергей Цветков
Названный Лжедмитрием

Пролог

20 июня 1605 года, с раннего утра, москвичи и пришлый люд толпились на улицах, ведущих из Кремля в Коломенское. Кровли домов и церквей, деревья, колокольни, башни и стены были усыпаны народом. Ждали приезда того, кто десять дней назад в грамоте, зачитанной на Лобном месте его гонцами, объявил москвичам о забвении прошлых вин и подписался: «Мы, пресветлейший и непобедимейший монарх, Димитрий Иванович, Божьей милостью Император и Великий Князь всея Руси и всех Татарских царств и иных многих Московской монархии покоренных областей Государь и Царь».

Ровно в полдень показалось торжественное и пышное шествие, растянувшееся на несколько верст. Впереди ехали польские латники, в крылатых шлемах и блестящих панцирях. Примкнувшие к ним польские музыканты играли на трубах, литаврах и барабанах. За ними шли полки стрельцов, медленно катились царские кареты, заложенные шестернями, и праздничные кареты бояр. Следом, окруженный толпой бояр и окольничих, на белом коне, в великолепном платье и дорогом оплечье ехал сам царь.

Под звон всех московских колоколов толпа падала ниц и кричала:

– Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий Иванович! Сияй и красуйся, солнце России!

Новый царь отвечал:

– Дай Бог вам тоже здоровья и благополучия. Встаньте и молитесь за меня!

Доехав до Красной площади, царь слез с коня и направился в Архангельский собор, чтобы помолиться у гроба своих предков. Небольшого роста, коренастый, с круглым безбородым лицом и проницательным взглядом маленьких глаз, он приветливо кланялся расступавшемуся перед ним народу. Отовсюду слышались крики: «То истинный Дмитрий!»

А спустя одиннадцать месяцев, в ночь на 18 мая 1606 года, покалеченный и окровавленный, он лежал на полу в своем дворце и на настойчивый вопрос склонившихся над ним бояр и стрельцов: «Кто ты таков, злодей?» – отвечал: «Вы знаете: я Дмитрий, несите меня к моему народу». Мушкетный выстрел прекратил его мучения.

Толпа три дня ругалась над его телом – плевала, колола ножами… Чья-то рука положила на лицо убитого маску – символ его удивительной судьбы.

Часть первая. Спасенный царевич

«… Никто не увенчавается, если не пострадает».
Житие святого мученика Уара

I. Незаконнорожденный

Осенью 1580 года, в разгар Ливонской войны, грозный царь Иван Васильевич шумно отпраздновал в Александровской слободе свою восьмую свадьбу. На этот раз его супругой стала Мария, дочь боярина Федора Федоровича Нагого. В храме, где происходило венчание, не было ни митрополита, ни епископов. Литургию служил поп Никита, государев любимец из опричников, поставленный в священники Спасо-Преображенского собора по желанию Ивана Васильевича; он же и повенчал молодых.

Молчаливое попустительство церкви столь вопиющему нарушению ее уставов уже давно стало обычным делом. Когда после внезапной смерти третьей жены Марфы Васильевны Собакиной царь решил учинить дотоле неслыханное на Руси беззаконие, взяв себе четвертую супругу, Анну Алексеевну Колтовскую, он еще озаботился тем, чтобы получить святительское благословение этого брака. На церковном соборе Иван Васильевич жаловался духовенству, что злые люди чародейством извели его первую супругу Анастасию, отравили вторую, черкасскую княжну Марию Темрюковну, погубили третью; что в отчаянии, в горести он хо-

тел посвятить себя житию иноческому, но видя жалкую младость сыновей и государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак, так как жить в мире без жены соблазнительно, и ныне, припадая с умилением, просит святителей о разрешении и благословении. Собор, возглавляемый новгородским архиепископом Леонидом, пошел на откровенную сделку с царем. Ради «теплого, умильного покаяния» государева решили утвердить брак, наложив на царя епитимью, а чтобы беззаконие царя не было соблазном для народа, пригрозили анафемой всякому, кто подобно государю дерзнет взять четвертую жену. Через год Иван Васильевич сослал надоевшую супругу в монастырь; главного своего пособника в этой женитьбе, архиепископа Леонида, вскоре приказал зашить в медвежью шкуру и затравить собаками, после чего, уже не советуясь с духовенством, разрешил сам себе еще несколько супружеств. Пятая жена Мария Долгорукова не сохранила для царя девственность и была утоплена; шестая и седьмая – Анна Васильчикова и Василиса Мелентьева – исчезли неизвестно куда.

Все на этой свадьбе было так же, как бывало и на предыдущих свадьбах царя, – визжали дудки, гнусаво блеяли рожки, тупо позвякивали бубенцы на бубнах, гости объедались диковинными блюдами – жареными лебедями, сахарными кремлями, мясом во всех видах, выпеченными из теста оленями, утками, единорогами, опивались дорогими винами, развязно шутили, орали пьяные песни. Необычно было лишь

распределение свадебных чинов. За один стол с Иваном Васильевичем и Марией Федоровной уселись: посаженный отец царя его младший сын Федор, царский дружка князь Василий Иванович Шуйский, посаженная мать невесты Ирина Федоровна, жена царевича Федора, и царицын дружка – окольничий боярин и кравчий Борис Федорович Годунов, брат Ирины.

В тот день никто из присутствовавших на свадьбе не мог и предположить, что рядом с царской четой сидели те, кому в будущем суждено было, вопреки их происхождению и положению, наследовать московский престол. Судьба уже незаметно связала их судьбы, и с этого неприметного узелка начался отсчет Смутного времени.

***

Свадьба лишь ненадолго отвлекла царя от черных дум. Иван Васильевич пребывал в оцепенении, вызванном военными успехами поляков и шведов. Ливонская война близилась к своему бесславному концу. Шведский генерал Делагарди взял Нарву, вырезав в ней несколько тысяч жителей, овладел Корелою, берегами Ижоры, городами Ямом и Копорьем. Войска Стефана Батория брали в Ливонии и в самой Росии город за городом; Радзивилл, сын виленского воеводы, совершил набег на берега Волги и дошел до Ржева. Успехи воеводы Ивана Петровича Шуйского, отстоявшего Псков и тревожившего войско Батория смелыми вылазками, не могли вернуть грозному царю былого мужества и веры в

непобедимость своего оружия. «Ты довольно почувствовал нашу силу; даст Бог, почувствуешь еще!» – гордо писал ему Баторий и насмехался: «Курица защищает от орла и ястреба своих птенцов, а ты, орел двуглавый, от нас прячешься… Жалеешь ли крови христианской? Назначь время и место; явись на коне и сразись со мной один на один, да правого увенчает Бог победой!» Ему вторил Курбский: «Вот ты потерял Полоцк с епископом, клиром, войском, народом, а сам, собравшись с военными силами, прячешься за лес, хороняка ты и бегун! Еще никто не гонится за тобой, а ты уже трепещешь и исчезаешь. Видно совесть твоя вопиет внутри тебя, обличая за гнусные дела и бессчисленные кровопролития!» Так оно и было. Иван Васильевич страшился измены и боялся посылать войско навстречу врагам; был уверен, что воеводы схватят его самого и выдадут Баторию.

Вскоре после свадьбы в Александровской слободе возобновились оргии, со скоморохами, девками и казнями. Иван Васильевич тяжело наливался вином, стараясь заглушить в себе страх и стыд за свое унижение. Он совсем охладел к своей новой супруге. Красота Марии не могла надолго прельстить пресытившегося царя, похвалявшегося тем, что он за свою жизнь растлил тысячу дев. Сохранилось известие, что он женился на ней лишь для того, чтобы успокоить царевича Ивана и ближних бояр, раздраженных его намерением добиваться руки английской королевы Елизаветы. Старея, Иван Васильевич начинал побаиваться старшего сына и

порой ненавидел его, может быть, потому, что видел в нем себя. Участник – поначалу невольный – всех отцовских оргий и казней, царевич Иван платил царю тем же, все чаще заглушая страх перед родителем своеволием и дерзостью.

В ноябре 1581 года противостояние отца и сына разрешилось злополучным ударом острого железного посоха (наши летописцы сообщают, что при этом пострадал и Борис Годунов, пытавшийся заступиться за царевича). Через четыре дня Иван скончался. Осталось неизвестным, был ли повинен Грозный в убийстве своего сына или, как сообщал членам Думы сам царь, смерть наступила от некоей тяжелой болезни, которой царевич Иван страдал в эти дни. Достоверно лишь то, что гибель наследника надломила царя. Неподвижно сидел он у тела сына те трое суток, пока шли приготовления к погребению… Родные, духовные, окольничие, подходившие к нему с увещеваниями и утешениями, не могли добиться от него ни слова. В Архангельском соборе, куда из Александровской слободы на руках принесли гроб с телом царевича, царь, в одной черной ризе, приникнув к гробу, прорыдал всю службу и отпевание, и потом, после погребения, с тоскливым звериным воем долго бился о землю…

Возвратившись в Александровскую слободу, Иван Васильевич на некоторое время уединился ото всех. Окольничие, дежурившие у дверей его покоев, целыми днями слышали доносившиеся оттуда всхлипывания, молитвы и глухие выкрики, словно царь разговаривал с кем-то, требовавшим от

него ответа. Но особенно жутко было ночью, когда Иван Васильевич вдруг вскрикивал, падал с ложа и катался по полу, стеная и вопя; изнуренный, он утихал лишь под утро, забываясь в минутном сне на сломенном тюфяке, который клали для него на полу возле ложа.

Но вот однажды он появился в боярской думе – истаявший, желтый, щуривший воспаленные глаза. В мертвой тишине торжественно объявил, что слагает с себя Мономахов венец и постригается в монахи, чтобы кончить дни в покаянии и молитве, в надежде на одно милосердие Господне; бояре же должны выбрать промеж себя достойного государя, которому он немедленно вручит державу и сдаст царство.

Нашлись такие, которые были готовы поверить в искренность царя. Однако большинство бояр, благоразумно опасаясь, что в случае их согласия у царя вдруг может исчезнуть влечение к схиме, принялись умолять его не идти в монастырь, по крайней мере до окончания войны. Иван Васильевич с видимым неудовольствием согласился продлить попечение о государстве и людишках, ему Богом врученных. Но в знак своей скорби он отослал в кремлевскую сокровищницу корону, скипетр и пышные царские облачения. Двор вместе с царем оделся в траур и отрастил волосы в знак покаяния. Иван Васильевич ежедневно служил панихиды. Каялся. Слал богатые дары на Восток, патриархам – в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, – чтобы молились об упокоении души его сына. Усиленно припоминал

всех казненных и замученных им людей, вписывал их имена в синодики. О тех, кого не мог вспомнить, писал просто: «Они же тебе, Господи, ведомы!»

Вероятно, под влиянием покаянного настроения он примирился и с Марией. В феврале 1582 года, на втором году своего брака, она почувствовала себя беременной.

К концу зимы царь, усердно молясь за упокоение душ других, наконец успокоился и сам. Вспомнив о Ливонии, которой он так добивался и которая ускользнула из его рук, приказал привести в Александровскую слободу ливонских пленников и пустил на них медведей. На изрытом снегу двора звери рвали людей на куски, а он, стоя у окна, упивался их муками. Были казнены и русские ратники, вернувшиеся из польского плена. Новгородского митрополита царь заточил в темницу, обвинив в измене, мужеложестве и содержании ведьм; одиннадцать его доверенных слуг были повешены на воротах его двора в Москве, а ведьмы четвертованы и сожжены. Прежние любимцы – боярин Никита Романович, брат первой жены царя Анастасии, и дьяк Андрей Щелкалов – подверглись опале и были обобраны до нитки. В промежутках между казнями во дворце гремели пиры. Царь гнал от себя людей, неспособных веселиться беспрерывно. Но прежняя выносливость покинула Ивана Васильевича. Ему случалось засыпать среди всеобщего разгула. Он стал забывать имена своих любимцев, иногда называл Бельского Басмановым, удивлялся, что за столом нет Вяземского, казненного

много лет назад.

Как-то в боярском совете он громко поинтересовался, почему так долго не видит подле себя Годунова. Федор Федорович Нагой, обрадовавшись случаю напомнить о себе и заодно очернить окольничего в глазах царя, сказал, что Годунов сидит дома, досадуя и злобясь на государя за полученные увечья. Иван Васильевич, скучавший по веселому и услужливому любимцу и чувствовавший свою вину перед ним, сам поехал на дом к Годунову узнать истину. Борис, встретивший царя в постели, в исподнем, показал ему свои раны. Их неоднократно прижигали, но некоторые из них еще гноились. Иван Васильевич обнял больного, умолял простить его. Потом поинтересовался, как зовут целителя, который так искусно прижег раны Годунова. Узнав, что это купец Строганов, в знак особенной милости пожаловал ему право называться полным отчеством, как именитые мужи, и велел в тот же день сделать прижигания на груди и боках своего тестя, клеветника.

Издевательство над Нагим было вызвано, видимо, новой вспышкой ненависти царя к Марии. Беременная супруга окончательно опостылела ему. Иван Васильевич возобновил проекты брачного союза с английским королевским домом. В августе 1582 года он послал в Лондон дворянина Федора Писемского обговорить условия его брака с Мэри Гастингс, племянницей королевы Елизаветы. О Марии Писемскому велено было сказать, что хотя у царя и есть жена, но она не

какая-нибудь царица, а простая подданная, не угодна ему и ради королевиной племянницы можно ее и прогнать.

Осенью двор переехал в Москву. Здесь 19 октября, в день памяти святого мученика Уара, Мария родила мальчика, нареченного при крещении Дмитрием. Возможно, имя для сына было выбрано ею в честь одного из своих предков. Нагие происходили из Дании. Их родоначальник Ольгерд Прега, в крещении Дмитрий, в 1294 году выехал из Дании к великому князю Михаилу Ярославовичу Тверскому, и был у него в боярах. Восприемником царевича был выбран князь Иван Федорович Мстиславский, потомок древних князей литовских, породнившихся с царствующим домом.

Зимой 1584 года стало ясно, что девятый брак царя не состоится. Писемский писал из Лондона, что племянница королевы больна оспой и притом не хочет переменять веры. У Марии, ежеминутно ожидавшей разлуки с сыном и пострижения в монастырь, отлегло от сердца. Но ее будущее по-прежнему представлялось неясным.

В январе Иван Васильевич заболел: у него распухли половые органы, внутренности гнили, тело царя издавало отвратительный смрад. Два месяца страшной болезни, которую врачи затруднялись определить, хотя усматривали ее причину в прежней развратной жизни и необузданных страстях царя, превратили его в дряхлого старика. Однако никогда еще он так сильно не хотел жить. Отчаявшись в искусстве иноземных врачей, он раздавал щедрые милостыни монасты-

рям, искал спасения в ведовстве знахарей и знахарок, которых по его приказу привозили в Москву с далекого севера… Он то готовился к благочестивой кончине, каясь и выпуская из темниц заключенных, то, прогнав духовных, лютовал и распутничал, словно старался смертями и зачатиями утвердить собственную жизнь. Говорили, что однажды, распалясь похотью, он набросился даже на свою невестку Ирину Федоровну, пришедшую к нему с утешениями.

В половине марта ему стало хуже. Царь едва мог ходить и его носили в кресле. Ежедневно он приказывал нести себя в сокровищницу, где в присутствии бояр и царевича Федора хвалился ученостью перед представителем английской торговой компании Джеромом Горсеем, раскрывая ему таинственное достоинство каждого драгоценного камня: «Вот прекрасные коралл и бирюза, возьмите их в руку. Их природный цвет остался ярок. А теперь положите их на мою ладонь. Я отравлен болезнью; вы видите, они изменили цвет из чистого в тусклый. Они предсказывают мою смерть.» Указывал на изумруд: «Этот произошел от радуги, он враг нечистоты». Брал в руки рубин, любовался им на свет: «О! Этот наиболее пригоден для сердца, мозга, силы и памяти человека, он очищает сгущенную и испорченную кровь». Ласкал сапфир: «Я особенно люблю его, он сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем чувствам, особенно полезен глазам, очищает взгляд, кроме того укрепляет мускулы и нервы. Все эти камни – чудесные дары Божьи, они –

друзья красоты и добродетели и враги порока». Почувствовав дурноту, приказывал нести себя на воздух и там принимался уверять всех, что будет жить еще долго. Бояре, стараясь не смотреть на его волдыри и не морщиться от нестерпимой вони, поддакивали ему и на чем свет стоит честили иноземных докторов, невежд и обманщиков.

Возле умирающего царя сцепились Годунов и Бельский. По их наущению Иван Васильевич каждый день составлял и менял завещания. Бельский настраивал его вручить управление государством в руки австрийского эрцгерцога Эрнеста, которого царь некогда хотел сделать польским королем. Кравчий оказался ловчее: добился передачи престола Федору и назначения при нем опекунского совета, куда вошел он сам, Бельский, боярин Никита Романович Захарьин и князья Иван Федорович Мстиславский и Иван Петрович Шуйский. Дмитрию с матерью царь назначил в удел Углич; воспитание царевича вверил Бельскому.

Это последнее завещание было подписано 15 мая. До кончины царя оставалось всего двое суток. За это время Бельский, позабыв про австрийского эрцгерцога, подбил Нагих – отца, братьев и дядей царицы – совместно добиваться престола для Дмитрия. То, что полуторогодовалый царевич по канонам церкви считался незаконнорожденным, не смущало их – все-таки он был природный государь, плоть от плоти грозного царя. Неизвестно, одобряла ли Мария планы заговорщиков; скорее всего ее и не спрашивали о согласии. Не

исключено, что Бельский имел более далекие виды на будущее. Возможно, что, используя имя Дмитрия, он надеялся снять Мономахов венец с головы Федора, чтобы потом возложить его на себя, женившись на Марии.

17 марта Иван Васильевич почувствовал себя лучше. Повеселел, возобновил занятия государственными делами. Около трех часов пошел в баню, с удовольствием мылся, тешился любимыми песнями. Освеженный, накинул на себя широкий халат и, усадив рядом с собой Бельского, велел подать шахматы. Принесли доску и два ларца с фигурами. Иван Васильевич опустил руку в свой ларец, вынул первую попавшуюся фигуру. Это был король. Царь хотел уверенным движением поставить его на положеннное место – и не смог. Клеток на доске вдруг стало слишком много, они плыли, мигали, меняли цвета… Невыносимая боль в груди и мгновенный приступ удушья погрузили все в темноту. Король с глухим стуком упал на доску.

Еще по дворцу сломя голову бегали слуги, посланные кто за водкой, кто за розовой водой, еще врачи растирали бездыханное тело царя своими снадобьями, еще митрополит Дионисий наскоро совершал над ним обряд пострижения, – а Бельский уже приказал верным ему стрельцам закрыть ворота Кремля и принялся убеждать опекунов передать скипетр и державу Дмитрию.

Тем временем ударили в колокол за исход души. Москвичи бросились в Кремль. Найдя ворота закрытыми, завол-

новались. Послышались крики, что Бельский извел великого государя и теперь хочет умертвить царевича Федора. Там и тут над головами людей уже колыхались бердыши, мушкеты, дреколье. Всем миром вытребовали из Кремля народного любимца Никиту Романовича и под охраной отвели его домой. Потом откуда-то появились пушки. Их поставили напротив Фроловских (Спасских) ворот и стали стрелять. Бельский пошел на мировую. Спустя некоторое время стрельцы со стен крикнули, чтобы прекратили огонь. Ворота открылись, Годунов, Мстиславский, Шуйский и дьяки Щелкаловы вышли к народу. Они заверили горожан, что царевич и бояре целы, а Бельский повинился в измене и будет сослан воеводой в Нижний Новгород. Волнение мало-помалу улеглось.

Той же ночью Марию с сыном, ее отца, братьев и дядей выслали в Углич. Для приличия дали прислугу, стольников, стряпчих, детей боярских и почетный конвой – двести стрельцов. Всадники, подводы, телеги, кареты тронулись в темноту. Щелкали кнуты, ржали лошади; факелы бросали багряный отсвет на рыхлый снег, разваливавшийся под полозьями. Передают, будто Федор подошел к карете, в которой сидела Мария с Дмитрием.

– Езжай, братец мой с Богом, – прошептал он, склонившись над младенцем. – Вот вырастешь, тогда поступлюсь тебе отцовским престолом, а сам в тихости пребуду…

II. Угличский царевич

Углич стоит на Волге, на обоих берегах. В XVI веке места здесь были пустынные, дикие. Вокруг – непролазные дебри, топи, заводи в ольхе и тростниках, столетние сосны и ели, валуны, вросшие в мох. Тонким голосом поет невидимый гнус, лоси и вепри с трудом продираются сквозь колтуны еловых ветвей. Для разбоя лучшего места не найти. Для спасения души тоже. Раньше, пока казанцев не усмирили, от татар житья не было. Казаки, поднимавшиеся по Волге на лодках, также своего не упускали, даром, что православные. После присоединения Казани на реке стало спокойно, миряне богатели торговлей, за городом множились тихие обители.

Сами угличане были не прочь потягаться древностью с Ростовом Великим: собственная угличская летопись сохранила предание о жившем здесь некоем Яне, приходившемся княгине Ольге не то братом, не то более дальней родней. По его имени и город долгое время носил название Яново поле, а потом стал называться Угличе поле – якобы от угла, который образует здесь Волга, круто поворачивая с севера на запад.

Углич – город самостоятельный. Все здесь свое – своя летопись, свой святой, свои князья. Последний удельный город в Московском государстве. Угличане привыкли, что ими владеют великие князья, братья московских государей. За своего господина стояли крепко, не щадя живота. Еще не так давно покушались вызволить из неволи Ивана и Дмитрия Андреевичей, племянников Ивана III Васильевича, ко-

торых он заточил в монастыре. Тогда государь в гневе рассеял многих угличан по другим городам. С тех пор Углич жил мирно. Последним угличским князем был Юрий Васильевич, брат грозного царя, поэтому опричный разгром и опалы город счастливо миновали.

Нового князя угличане приняли с радостью. Уже издали Мария увидела вышедшую из города навстречу поезду нарядную толпу горожан, духовенство, кресты, хоругви. Священнослужители говорили приветственные речи. Народ ликовал и падал ниц перед царской каретой.

В Преображенском соборе она долго молилась у гроба с мощами святого князя Романа Угличского. Потом поехала во дворец. Бродила по холодным, пустым каменным палатам, подыскивая, в какой комнате остановиться. Наконец выбрала самые дальние покои и уединилась в них с Дмитрием.

Тело Ивана Васильевича похоронили в Архангельском соборе рядом с могилой его старшего сына. Москвичи долго не могли свыкнуться с мыслью, что грозного царя нет в живых. Проходившие мимо собора люди крестились и молились, чтобы он как-нибудь не воскрес.

Как Годунов не спешил с венчанием Федора, церемонию пришлось отложить ради шестинедельного моления об усопшем государе. По истечении этого срока именитые мужи, съехавшиеся в Москву изо всех городов, от имени всей земли подали Федору челобитную и просили быть царем. Федор

дал согласие. Венчание состоялось 31 мая.

На рассвете этого дня над Москвой разразилась ужасная буря. Ветер срывал крыши домов, по небу растекались белые струи молний, раскаты грома гремели, не умолкая, как будто по небесной тверди из конца в конец катался какой-то огромный, грохочущий шар; проливной дождь в считанные минуты затопил улицы. Народ воспринял непогоду, как предзнаменование грядущих бедствий, и даже когда буря утихла, боялся покидать свои дома. Но ближе к полудню небо прояснилось, и по звону колоколов бесчисленные толпы отовсюду начали стекаться к Кремлю. Было так тесно, что стрельцы едва смогли расчистить путь для духовника Федора, который вышел из царских палат, чтобы перенести в Успенский собор *Мономахову святыню*: животворящий крест, венец и бармы. Годунов, величественно вышагивавший за духовником со скипетром в вытянутых руках, был великолепен в своем вышитом золотом одеянии, сиявшем алмазами, яхонтами и жемчугом необыкновенных размеров. Это был и его день.

Но вот на дворцовом крыльце появился Федор, окруженный боярами, князьями, воеводами, архиереями, дьяками. Огромное людское море мгновенно затихло, с благоговением разглядывая государя. На Федоре было платье небесно-голубого цвета; одежды сопровождавших его вельмож были золотые, с красными и серебряными оттенками. В полной тишине царь нетвердой походкой прошел в переполнен-

ный собор. Во время молебна окольничие и епископы ходили по храму и тихо приказывали народу благоговеть и молиться. Затем митрополит Дионисий приступил к обряду венчания. Возложив на Федора Мономахов крест, венец и бармы, он взял его за руку, поставил на особое, царское место и вручил длинный скипетр из китового зуба. Архидиакон на амвоне, священники в алтаре и хор на клиросе торжественно и звучно провозгласили царю многие лета.

Федор выглядел немного испуганным, растерянно улыбался. К концу краткой напутственной речи митрополита Дионисия он выглядел уже настолько утомленным, что его поспешили усадить на трон, поставленный на амвоне. Во время литургии Федор смотрел бессмысленным взглядом на короны завоеванных Москвой царств, по обычаю лежавшие у подножия трона, и то и дело поворачивался к стоявшим у него за спиной Годунову и Никите Романовичу, словно вопрошая их, когда его наконец оставят в покое.

Пиры, принятие присяги, целование царской руки, раздача должностей, привилегий и милостыни – все это продолжалось целую неделю. Торжества закончились на восьмой день за городом – на просторном лугу, где сто семьдесят медных пушек палили в честь государя несколько часов подряд.

После праздников дворец погрузился в благостную, ничем не возмущаемую тишину. Природа словно погасила в Федоре все страсти, бушевавшие в неистовой натуре его отца. На опухлом лице царя все время играла ласковая, но жал-

кая улыбка; фамильный ястребиный нос не в силах был придать его лицу наследственное выражение свирепой жестокости, столь характерное для его отца и старшего брата. Да и вообще, в отличие от них, жизнь Федора представляла собой нравственно—бытовой образец жизни древнерусского государя. Обыкновенно Федор вставал в четыре часа утра; неспешно одевался. Посылал за духовником, который являлся с большим крестом и с иконой святого, память которого праздновалась в тот день по святцам. Федор сейчас же становился на молитву перед принесенной иконой, а духовник выходил и возвращался через четверть часа с чашей святой воды и кропилом.

Окончив молитву, царь шел к супруге, Ирине Федоровне. Вместе с ней стоял на заутрене. Потом принимал окольничих и духовных. К девяти часам начинал ерзать на троне, с нетерпением ожидая, когда можно будет пойти звонить к обедне (это было одно из любимейших занятий Федора; Иван Васильевич при жизни с горечью говорил, что он больше похож на пономарского, чем на царского сына). В церкви думные бояре шумно спорили о государственных делах, замолкая на время, чтобы справиться о мнении государя. Федор ласково смотрел на них. Молчал. Перебирал четки. Суетные люди! Все как-нибудь устроится Божиим судом.

В одиннадцать царь обедал, строго соблюдая постные дни. После обеда два-три часа спал. Слушал вечерню. Перед сном снова виделся с Ириной. Ему нравился ее смех, нравилось,

что она, будучи умнее его, хохотала вместе с ним над балагурством шутом и кувырканьем карликов. Он любил показывать и дарить ей иконы в роскошных окладах, изделия своих золотых и серебряных дел мастеров. В эти минуты она без труда добивалась от него распоряжений, выгодных ее брату, Борису.

По большим праздникам Федор уступал просьбам придворных и присутствовал на кулачных боях или играх с медведями. Эти развлечения были ему противны. Торжество грубой силы заставляло его острее чувствовать свою немощность. Он вздрагивал всем телом от ударов бойцов, рева зверей; улыбка сходила с его губ, тело болезненно напрягалось.

Иностранцы, видевшие нового московского государя, не стесняясь говорили, что он весьма скуден умом или даже вовсе лишен рассудка. А по Руси распространялась молва: Господне благоволение над нами; правит государством благоюродивый самодержец Федор Иванович. *Освятованный* царь!

***

Платон, изгнавший из своего идеального государства поэтов и актеров, советовал его будущим правителям отвечать тем, кто будет спрашивать, почему в их государстве нет трагедии: «Наше государство и есть лучшая трагедия». Россия – государство далеко не идеальное, однако история не раз выбирала ее в качестве гигантских подмостков для своих трагедий. Во время четырнадцатилетнего царствования Федора внешне все, казалось, обстояло благополучно. Иностранцы,

помнившие кровавое правление Грозного, дивились теперь, что Московия будто стала другой страной, обрела новое лицо. Каждый человек, писали они, живет мирно, уверенный в своем месте и в том, что ему принадлежит; везде торжествует справедливость. Но история исподволь уже воздвигала декорации для будущей трагедии, умело выбирала актеров на ведущие роли и устраняла второстепенные фигуры.

Первое время после смерти Ивана Васильевича в опекунском совете установилось равновесие сил. Годунов скромно сидел на четвертом место; первое по старшинству занял Никита Романович, за которого горой стояли москвичи и братья Щелкаловы, Андрей и Василий Яковлевичи, влиятельные дьяки посольского и разрядного приказов. Двое других опекунов, родовитые и бессильные, осторожно искали союзников в Кремле и за его стенами. Федор Иванович Мстиславский, делавший вид, что доволен и тем, что с ним хотя бы советуются, втихомолку подбивал к возмущению бояр; Иван Петрович Шуйский, имевший вес, как защитник веры и отечества, в среде московского купечества и духовенства, толковал с ними о похищении царских прав безродным татарином (Годуновым) и горевал об унижении Рюриковичей.

Но вскоре старого Никиту Романовича разбил паралич. Мстиславский и Шуйский распрямились, стали возвышать голос в совете. Годунов затаился, стараясь угадать, с какой стороны будет нанесен удар. Неожданную помощь ему оказали дьяки Щелкаловы. Если верить нашим летописцам, Борис

и братья дали друг другу «клятву крестоклятвенную», чтобы всем троим согласно искать «к царствию утверждения», то есть преобладания в правительстве. Старший Щелкалов был не прочь, кажется, поучить Бориса уму-разуму: вызвался быть для него «наставником и учителем» в житейской науке, «как перейти ему от нижайших на высокие и от малых на великие и от меньших на большие и одолевать благородных». Дети опричнины сплачивались против родовой знати.

Первым пал Мстиславский. Его обвинили в том, что он хотел убить царского шурина, заманив его к себе на пир. Неизвестно, заходил ли Мстиславский в своих планах свержения Годунова так далеко – все-таки он приходился Борису названным отцом! Может быть, обвинение против него было ложным, полученным хорошо известным в Московской Руси способом. В разрядный приказ вдруг приходило несколько дворовых людей неугодного царю боярина и давали против него показания. Хорошие, ценные показания. Этого было достаточно для опалы. Как бы то ни было, в 1585 году Мстиславского постригли и сослали в Кирилло-Белозерский монастырь. Чтобы расправа не выглядела огульным гонением на знатный род, место Мстиславского в думе сохранили за его сыном Федором Ивановичем.

Затем Годунов и Щелкаловы вспомнили об одной особе, которую ввиду бездетности Федора следовало как можно скорее вырвать из рук воинственного Батория. Поразмыслив, Борис вызвал к себе Джерома Горсея. Управляю-

щий московской конторы Английской торговой компании по просьбе думы на днях должен был отправиться в Лондон, чтобы объявить королеве Елизавете о воцарении Федора. На вопрос Годунова, не возьмет ли он на себя еще одно, тайное и чрезвычайно важное поручение, Горсей любезно ответил, что всегда рад услужить лорду-протектору.

В Риге жила женщина, носившая громкий титул королевы Ливонии. Это была Мария Владимировна, одна из двух дочерей князя Владимира Старицкого, брата Ивана Васильевича. После казни князя Старицкого, царь надолго забыл о своей племяннице и вспомнил о ней, когда начал Ливонскую войну. В то время он мечтал создать вассальное Ливонское королевство, возложив его корону на датского принца Магнуса, во что бы то ни стало желавшего поцарствовать, все равно где. Чтобы обеспечить верность принца, Иван Васильевич заставил его жениться на русской княжне. Поскольку Магнус был протестант, царь придумал особую форму бракосочетания: перед алтарем обряд венчания над невестой совершал православный священник; пастор делал свое дело в дверях храма. Таким образом, молодые венчались, стоя врозь друг от друга, зато святыня храма не была осквернена еретиками.

Марии Владимировне едва минуло 13 лет. Вся дальнейшая ее жизнь была чередой лишений и испытаний. Царь обещал Магнусу дать за невестой кучи золота и серебра, но прислал лишь рухлядь и платья. Супруга сразу опостылела принцу. Он переметнулся к Баторию, который также оказал-

ся щедр лишь на обещания. Так и не примерив ливонской короны, Магнус умер в то время, когда Ливония, разоряемая со всех сторон, стала добычей Батория. Король назначил Марии Владимировне и ее 9–летней дочери Евдокии скромную пенсию и отослал их в Ригу под надзор кардинала Радзивилла, большого охотника до общества молодых ливонок. Баторий надеялся разыграть эту карту в том случае, если Федор умрет бездетным.

Однажды вечером, когда Мария Владимировна готовила дочь ко сну, расчесывая ей волосы, в ее комнату вошел незнакомый бородач в английском камзоле. Это был Горсей, без труда получивший от Радзивилла разрешение повидать пленницу. Он попросил позволения поговорить с ней наедине. Мария Владимировна с удивлением ответила, что не знает его, но все же отошла с ним к окну. Горсей под большим секретом сообщил ей, что царь Федор Иванович, узнав, в какой нужде она живет, просит ее вернуться в родную страну и занять там достойное положение в соответствии с ее царским происхождением и что лорд-протектор Борис Федорович Годунов, в свою очередь, также изъявляет свою готовность служить ей. Мария Владимировна выразила опасение, что в Москве с ней поступят так же, как с другими вдовами: разлучат с дочерью и постригут в монастырь.

– Но вы не простая вдова, а кроме того, время изменило этот обычай: теперь те, кто имеет детей, не принуждаются к пострижению, а остаются растить и воспитывать их, – заве-

рил ее Горсей.

Страстное желание обрести свободу заглушило в несчастной ливонской королеве голос благоразумия, она ответила согласием. В тот же день в Москву поскакал гонец, везя в подкладке кафтана письмо Горсея с отчетом о выполнении поручения.

Получив согласие Марии Владимировны на возвращение, Годунов добился от польского сейма ее выдачи. Почтовые лошади, заготовленные на всем пути от Нарвы до Москвы, в считанные дни доставили королеву с дочерью на родину. Годунов принял их, как обещал, с почестями. Наделил вотчинами, деньгами, сулил молодой вдове в скором времени знатного жениха.

Между тем на границах все как-то устраивалось само собой. Немощный Федор благополучно царствовал, его грозные враги умирали. Непобедимый Делагарди утонул в Нарове; обескураженные шведы подписали перемирие на четыре года без всяких условий. А в декабре 1586 года с литовской границы пришло известие еще более поразительное: воеводы писали, что в Польше толкуют о кончине Стефана Батория. В Варшаву отправился дворянин Елизар Ржевский, который должен был, в случае если слух о смерти Батория подтвердится, предложить полякам в короли Федора. Ржевский сообщил в Москву, что Баторий действительно умер и что паны, съехавшись на сейм, как на войну, выбирают нового короля: сторонники Зборовских хотят австрийского принца

Максимилиана; гетман Ян Замойский, соратник покойного Стефана, прочит на престол шведского принца Сигизмунда, чтобы в союзе со Швецией дальше воевать Москву; третьи, среди которых большинство составляют литовские паны, стоят за Федора, но жалуются, что московский государь пишет к ним *холодно* и не шлет денег, как другие претенденты.

В Польшу срочно выехало другое посольство: Степан Васильевич Годунов, князь Федор Троекуров и дьяк Василий Щелкалов. Послы должны были от имени Федора обещать панам защиту их старых вольностей и дарование новых, раздачу земель и денег, невмешательство царя во внутренние дела Речи Посполитой. В особой статье письменного наказа послам говорилось: «Если паны упомянут о юном брате государевом, то изъяснить им, что он младенец, не может быть у них на престоле и должен воспитываться в своем отечестве». Так от головы Дмитрия заботливо отстраняли и вторую корону, на этот раз польско-литовскую.

Выборы короля происходили в поле, на котором было выставлено три знамени: на австрийском была изображена немецкая шляпа, на шведском – сельдь, на русском – шапка Мономаха. Большинство избирателей собралось под русским знаменем. Соединение Московского государства и Речи Посполитой казалось делом решенным. Но едва дошло до условий договора панов с московским царем, начались раздоры. Федор ни за что не хотел короноваться по католиче-

скому обряду и требовал, чтобы в общем гербе нового государства корона Польши была помещена под шапкой Мономаха. «Москвитяне хотят пришить Польшу к своей державе, как рукав к кафтану!» – возмущались поляки.

Польские сторонники московского царя переметнулись к Зборовским и Замойскому. Еще можно было поправить дело денежными раздачами, но оказалось, что московские послы приехали на сейм с пустыми руками! Литовские паны требовали от них 200 тысяч рублей, потом соглашались и на 100 тысяч и, не получив ни рубля, в досаде примкнули к Замойскому. На престол Речи Посполитой сел Сигизмунд III, наследник шведского престола, ярый католик. Худшего для Москвы выбора невозможно было представить. К счастью, польско-шведский союз против России не состоялся. В протестантской Швеции не были склонны поддерживать королевича-паписта.

А в Москве назревал новый мятеж. Торговые люди, предводительствуемые знатными купцами, ежедневно приходили в Кремль и кричали, что побьют Годунова камнями, если он тронет кого-нибудь из Шуйских. В думе, слыша эти крики, волновались. Иван Петрович Шуйский, не скрывая довольной улыбки, победно смотрел в сторону Годунова, как когда-то со стен Пскова взирал на лагерь Батория. Чтобы не допустить между ними открытого столкновения, митрополит Дионисий взялся помирить врагов. Он свел их в своих кремлевских палатах и требовал клятвы жить в любви брат-

ской, искренно доброхотствовать друг другу и вместе радеть о государстве и вере. Годунов и Шуйский с умиленными лицами приложились к кресту. Затем улыбающийся Шуйский вышел к народу и объявил о состоявшемся примирении. В ответ ему раздались крики:

– Помирились вы нашими головами! Теперь и нам и вам от Бориса пропасть!

Кричавшими были двое московских купцов. Той же ночью они загадочно исчезли. Однако их предупреждение было услышано Шуйским. Несмотря на только что данную клятву, он составил хитроумный заговор против Годунова, уговорив примкнуть к нему и примирителя – митрополита Дионисия. Вдвоем они зазвали к себе купцов и служилых людей и дали им подписать челобитную, составленную как бы от имени всей земли, чтобы царь развелся с бесплодной Ириной и взял себе в жены княжну Мстиславскую, дочь постриженного князя Ивана Федоровича.

Но и Годунов не дремал. Его лазутчики и шпионы держали Шуйского под постоянным наблюдением. На челобитной еще не успели просохнуть чернила, как он уже узнал о готовящемся перевороте. Борис повел игру не менее тонко. Он встретился с митрополитом и без малейшего признака гнева стал усовещать его, что развод есть дело беззаконное, что Федор и Ирина еще молоды и могут в будущем иметь детей и что в любом случае трон не останется без наследника, поскольку у Федора есть младший брат царевич Дмитрий. (За-

мечательно, что Борис сам признал Дмитрия законным наследником престола; без сомнения, царевич был таковым в глазах всех русских людей.) Дионисий не нашел, что возразить и просил только не мстить заговорщикам. Борис великодушно обещал ему это. Единственной жертвой неудавшегося заговора стала княжна Мстиславская, которую постригли в монастырь.

Но через некоторое время холопы Шуйского Федор Старов с товарищами явились во дворец с доносом, будто их господин замыслил извести царя. (Формальные основания для притязаний на престол у Шуйских были: этот коренной великорусский род по родословцу стоял выше не только всех Рюриковичей, но и старейших Гедиминовичей.) Наши летописцы не сомневаются, что доносчики были подучены Борисом. Князь Иван Петрович Шуйский с братом Андреем разделили участь Мстиславского: одного услали на Белоозеро, другого в Каргополь. Их друзей, князей Татевых, Урусовых, Быкасовых, многих купцов и дворян разметали по дальним городам. Подвергся опале и митрополит Дионисий – его удалили в Хутынский монастырь. Вместо него на московский святительский престол сел ростовский архиепископ Иов, будущий первый русский патриарх, друг Бориса, во всем с ним согласный.

Из всех Шуйских опала не коснулась только князя Василия Ивановича и его брата Дмитрия. Более того, Годунов даже приблизил первого к себе, быть может, чтобы иметь

возможность лучше присматривать за ним. Впрочем Василий Иванович проявлял полную лояльность к Годунову, – по крайней мере, внешне. Все же, чтобы окончательно устранить всякую угрозу престолу со стороны этого древнейшего рода, Борис запретил Василию Ивановичу жениться и тем самым иметь законное потомство.

К 1589 году Годунов сделался всемогущ. Пользуясь вялостью царя и поддержкой сестры-царицы, он все ближе и ближе подходил к трону. Он был поочередно «конюшим», «ближним великим боярином», «наместником царств Казанского и Астраханского», пока наконец не добился титула «князь-правитель», сделавшись фактическим соправителем Федора. На приемах иностранных послов он один из всех бояр стоял у трона, а передают, что будто бы однажды его рука как бы невзначай овладела «государевым яблоком» – державой, которую улыбающийся Федор и не подумал у него оспаривать. Это стремительное возвышение объясняется не столько его честолюбием (как умный человек, он вполне удовольствовался бы ролью «серого кардинала»), сколько неумолимой логикой политического самосохранения: защищаясь, он был вынужден наносить ответные разящие удары, облекаться в броню чинов и титулов. Можно верить летописцу, повествующему о страхе и колебаниях, которые иногда охватывали его. Действительно, он как будто оказался на волшебной лестнице, – лестнице власти, ступеньки которой поочередно пропадают под ногами, вынуждая подниматься

все выше и выше.

Итак, все актеры заняли свои места. Но главному герою трагедии предстояло на время исчезнуть.

***

Как забыть кремлевские палаты, почет, власть, свою причастность к государственным делам и к тем, кто заправляет ими? Может быть, Нагие и смирились бы с жизнью в Угличе, если бы им ежедневно не напоминали самым унизительным образом о том, что они находятся в ссылке. Правда, с самим Федором высланные остались в прекрасных отношениях: Нагие посылали ему по праздникам пироги, царь одаривал их мехами. Но дворцовым хозяйством и всеми доходами полновластно распоряжался дьяк Михаил Битяговский, приставленный опекунами для присмотра за мятежной семьей. Он не позволял Нагим израсходовать ни одной лишней копейки сверх определенного им содержания. Братья Марии Михаил и Григорий бесились, устраивали страшные перебранки со сварливым дьяком, но лишь понапрасну портили себе кровь.

Конечно, воспоминания о Москве, сожаления об утраченном престоле, злословие о Годунове составляли главную часть бесед во дворце. Дмитрий чутко прислушивался к этим разговорам, впитывая настроения взрослых. В Москве рассказывали, что играя однажды на льду с другими детьми, он велел вылепить из снега дюжину фигур и, дав им имена знатнейших бояр, принялся рубить их своей сабелькой; сне-

говику, изображавшему Бориса Годунова, он будто бы отсек голову, приговаривая: «Так вам будет, когда я буду царствовать!»

Уверяли также, что царевич любит муки и кровь и охотно смотрит, как режут быков и баранов, а иногда и сам пробирается на кухню, чтобы собственными руками свернуть головы цыплятам. Настоящий сын Грозного! Впрочем многие называли эти россказни клеветой, распускаемой самим Борисом, и, напротив, утверждали, что юный царевич обладает умом и душой истинного христианского государя, благочестивого и справедливого.

Полагаю, что даже в том случае если эти слухи соответствовали действительности, они не свидетельствуют об исключительной испорченности характера юного царевича. Думается, ни при чем здесь и дурная наследственность. Мальчикам вообще свойственна жестокость – к животным и людям. Вот что, например, писал Бунин от лица героя «Жизни Арсеньева», – без сомнения, вспоминая схожий эпизод из своего детства: «Я был в детстве добр, нежен – и однако с истинным упоением зарезал однажды молодого грача с перебитым крылом… Убийство, впервые в жизни содеянное мною тогда, оказалось для меня целым событием, я несколько дней после того ходил сам не свой, втайне моля не только Бога, но и весь мир простить мне мой великий и подлый грех ради моих великих душевных мук. Но ведь я все-таки зарезал этого несчастного грача, отчаянно боровшегося

со мной, в кровь изодравшего мне руки, и зарезал с страшным удовольствием!» Наверное, не существует мужчины, который не мог бы вспомнить мух и кузнечиков с оторванными из любопытства крыльями и ножками, разрезанных червяков, кошек, брошенных в мусоропровод, забитых камнями голубей, закапанных расплавленной пластмассой лягушек – всех этих невинных и бессмысленных мучеников нашего познания добра и зла, жизни и смерти.

По единодушному свидетельству иностранных и русских писателей, кто-то два или три раза пытался отравить Дмитрия. Невозможно сказать, почему эти попытки не удались. Летописцы знают одно объяснение: «Бог не допустил». Возможно, поводом этих слухов послужили приступы рвоты у царевича – из-за недоброкачественной пищи или по какой-нибудь другой причине. Несомненно одно: царица Мария пребывала в постоянном страхе за жизнь сына. Да и могла ли она оставаться беспечной, если к 1590 году в монастырях скончались Мстиславский и Шуйский, при подозрительных обстоятельствах умерла Евдокия, дочь Марии Владимировны, а сама бывшая ливонская королева была пострижена в монахини? Молва приписывала эти смерти властолюбию Бориса, и в угличском дворце безусловно разделяли это мнение. Сам ход событий делал если пока и не самого Дмитрия, то его имя тем знаменем, вокруг которого могли сплотиться все тайные (явных уже не осталось) противники Годунова. Расстановка сил всем казалась очевидной. И не только На-

гие, но и многие другие люди на Руси спрашивали себя: решится ли Борис на последний, страшный шаг?

В России сбываются только худшие ожидания. 17 мая 1591 года по Москве молнией распространилась весть: царевича Дмитрия не стало! Передавали разное: младенец оказался жертвой не то несчастного случая, не то злодеев-дьяков, которых угличане растерзали на месте преступления; имя царского шурина не сходило с языков.

Годунов почувствовал, как земля уходит из-под его ног. Неблагоприятные слухи нужно было развеять во что бы то ни стало и как можно скорее.

***

На следующий день в Углич выехала следственная комиссия. Годунов постарался, насколько мог, придать ей, хотя бы внешне, вид полного беспристрастия. Из четырех ее членов, трое, казалось бы, не имели оснований угождать Борису: князь Василий Иванович Шуйский принадлежал к опальной фамилии; дьяк Елизар Вылузгин исполнял свои прямые обязанности; митрополит крутицкий Геласий представлял своей особой нравственный авторитет церкви. Только один следователь, окольничий Андрей Клешнин, был напрямую связан с Борисом – его жена, княжна Волхонская, была неразлучной подругой царицы Ирины, а сам Клешнин пользовался исключительным доверием Федора и был всей душой предан Годунову.

Можно лишь догадываться, получили следователи ка-

кие-либо инструкции от Годунова, или они действовали независимо. Во всяком случае их действия показывают, что они отлично представляли, в каком направлении должно двигаться следствие в столь щекотливом для Бориса деле.

Вечером 19 мая следственная комиссия прибыла в Углич и сразу приступила к допросам. Следствие продолжалось почти две недели. Похоронив тело царевича в угличской Спасской церкви, следователи 2 июня возвратились в Москву. Дьяк Василий Щелкалов зачитал материалы дела перед государем и собором во главе с патриархом Иовом. Из показаний опрошенных складывалась довольно ясная картина происшедшего.

Царевич Дмитрий страдал падучей (эпилепсией). Припадки болезни происходили бурно: во время одного из них он покусал руки дочери Андрея Александровича Нагого, дяди царицы Марии, а в другой раз изранил свайкой – длинным, толщиной в палец гвоздем, которым царевич любил играть в тычку, – саму царицу. Чтобы исцелить ребенка, его водили к кирилловским старцам причащаться богородичным хлебом; обращались и к знахарям, но они вместо лечения навели порчу на царевича. За три дня до несчастья у Дмитрия снова был припадок. В субботу 15 мая ему стало лучше, и царица повела его к обедне, а по возвращении во дворец разрешила ему поиграть на заднем дворе, поручив его попечению мамки Василисы Волоховой, кормилицы Арины Ждановой (по мужу Тучковой) и постельницы Марии Колобо-

вой (по мужу Самойловой). К царевичу присоединились еще четверо «жильцов» – дворовых ребят-сверстников: Петрушка Колобов, Баженка Тучков, Ивашка Красенский и Гришка Козловский. Играли опять в тычку, попадая ножиком в железное кольцо, положенное на землю. Вдруг с царевичем случился новый припадок и, падая, он глубоко ранил себя ножем в шею.

«… На царевича пришла опять черная болезнь и бросило его об землю, и тут поколол царевич сам себя в горло и било его долго, да тут его не стало» (показания Василисы Волоховой).

«… набрушился сам на нож в падучей и был еще жив» (показания Григория Федоровича Нагого).

Арина Тучкова подхватила Дмитрия на руки. На крик из дворца выбежала царица. В гневе она принялась колотить поленом мамку, не уберегшую царевича, приговаривая, что сын ее Осип Волохов вместе с сыном Битяговского Данилой и его племянником Никитой Качаловым зарезали Дмитрия; а Волохова стала бить ей челом, чтобы велела царица дать сыск праведный, потому что сын ее Осип и на дворе не бывал.

Максимка Кузнецов, случайно бывший в это время на звоннице Спасской церкви, находившейся рядом со дворцом, заметил неладное и ударил в набат. Пономарь Соборной церкви вдовый поп Федот Афанасьев по прозвищу Огурец, услышав звон, побежал со двора в город; навстречу ему по-

пался дворцовый стряпчий Кормового двора Суббота Протопопов, который, сославшись на приказ царицы, велел звонить в колокол, «да ударил его в шею».

В городе решили, что во дворце начался пожар. Народ повалил на дворцовый двор. Первыми прибежали братья царицы, Михаил и Григорий. Мария, устав избивать Волохову, но еще не утолив своего гнева, передала полено Григорию, который продолжил охаживать нерадивую мамку по бокам. Затем явился дядя царицы Андрей Александрович Нагой. Когда на дворе начала скапливаться толпа, он взял тело царевича, отнес его в церковь Спаса и был при нем «безотступно», «чтобы кто царевичева тела не украл». В это время Мария и Михаил стали возбуждать сбежавшийся народ, крича, что царевича зарезали Битяговские, отец и сын, Осип Волохов, Никита Качалов и дьяк Данила Третьяков. Другой дядя царицы Григорий Александрович Нагой, прибывший во дворец одним из последних, услышал уже, что «царевич, сказывают, зарезан, а того не видал, кто зарезал».

Дьяк Михаил Битяговский в это время обедал у себя дома вместе с попом Богданом, духовным отцом Григория Федоровича Нагого. Когда зазвонили в колокола, дьяк послал людей проведать, не пожар ли. Они вернулись, сказав, что сытник Кирилл Моховиков, назвавшись очевидцем несчастного случая, «подал весть», что царевич зарезался.

Битяговский бросился во дворец. Ворота были закрыты, но Кирилл Моховиков отпер их ему, подтвердив, что царе-

вича не стало. По двору метались посадские люди с рогатинами, топорами, саблями. Битяговский побежал в покои царицы – «чаял того, что царевич наверху», но, не найдя никого, спустился вниз. Здесь его заметили дворовые и посадские люди и окружили. Он спросил их: для чего они с топорами и рогатинами? Вместо ответа они стали гоняться за ним и Данилой Третьяковым, который тоже оказался во дворе. Беглецы думали спастись, запершись в Брусяной избе, но толпа «высекла двери», выволокла дьяков из избы и убила обоих. Убили также человека, который выказал сочувствие к Волоховой.

Авдотья Битяговская показала, что велели убить ее мужа братья царицы, Михаил и Григорий, раздраженные постоянными ссорами с ним: Битяговский бранился с Михаилом Нагим за то, что тот «добывает беспрестанно ведунов и ведуний к царевичу Дмитрию» и что он с братом приютили ведуна Андрюшку Мочалова, который гадает им, сколь долговечны государь и государыня.

После убийства Михаила Битяговского с Данилой Третьяковым разделались с Данилой Битяговским и Никитой Качаловым, которые укрылись в Дьячной избе: они тоже были «выволочены» и «побиты до смерти». Затем начали грабить дворы убитых.

«… А на Михайлов двор Битяговского пошли все люди миром, и Михайлов двор разграбили, и питье из погреба в бочках выпив, и бочки кололи» (показания Данилко Григо-

рьева, дворцового конюха).

Вдову Битяговского сильно избили, а подворье разграбили «без остатку». В Дьячной избе разломали «коробейки» и украли 20 рублей государственных денег. При этом убили еще троих людей Михаила Битяговского и двоих – Никиты Качалова; а посадского Савву плотника с шестью товарищами Михаил Нагой приказал лишить жизни за то, что они толковали, будто дьяки убиты «за посмех» (то есть напрасно). Подьячие Третьятко Десятый, Васюк Михайлов, Терешка Ларивонов, писчики Марко Бабкин и Ивашка Ежов, упрекнувшие посадских людей, что зря убили дьяков, услыхали в ответ: «Вам-де от нас то же будет!» – испугались и убежали за город в лес, дожидаться приезда государевых людей. Туда же потянулись многие горожане, опасавшиеся за свои жизни.

Осипа Волохова убили одним из последних. Приехвший по набату в город игумен Алексеевского монастыря Савватий еще застал его в живых около шести часов вечера. Толпа привела Осипа в церковь Спаса, куда зашел Савватий, чтобы повидаться с царицей. Мария стояла у гроба сына; Осип скрывался за одним из столпов храма. Мария указала на него Савватию, как на соучастника убийства царевича. Когда игумен вышел, толпа набросилась на Осипа; его дворовый человек Васька кинулся на тело господина, прикрывая его собой, – так убили и его.

Последней жертвой рассвирепевшей толпы была «женоч-

ка юродивая», жившая на дворе у Михаила Битяговского и часто хаживавшая во дворец «для потехи царевичу». Царица приказала ее убить два дня спустя за то, что «та женка царевича портила».

Три дня Углич находился в руках Нагих. Вокруг города на телегах ездили их дворовые люди, по дорогам, ведущим в Москву, были разосланы верховые, чтобы никто не мог подать весть государю об их злодеяниях. Перед приездом следователей Нагие решили скрыть следы своей измены и направить следствие по ложному пути. Городовой приказчик Русин Раков добровольно признался, что был вовлечен в этот заговор Михаилом Нагим, который вечером 18 мая шесть раз вызывал его к себе и, имея за спиной толпу дворни, заставлял его целовать крест: «буде ты наш» – и просил «стоять с нами заодно». Раков волей-неволей согласился. Михаил приказал ему «собрать ножи» и «положить на тех побитых людей», – как доказательство их злых намерений. Раков взял в торговом ряду и у посадских несколько ножей, со двора Битяговского – железную палицу, да свою саблю дал ему Григорий Нагой. Оружие вымазали в куриной крови и положили у трупов Михаила Битяговского, его сына, Никиты Качалова, Осипа Волохова и Данилы Третьякова. Рядом с одним убитым человеком Битяговского положили даже самопал. Несмотря на это разоблачение, Михаил Нагой упорно настаивал, что царевич убит Битяговским с товарищами, а сам он ни в чем не повинен.

Таким образом измена Нагих была очевидна. Убийства государевых людей произошли по их приказу, при помощи их дворни, которая верховодила посадскими. Митрополит Геласий добавил к прочитанному, что царица Марья перед отъездом комиссии в Москву призвала его к себе и говорила с «великим прошением», что дело учинилось грешное, виноватое, и молила, чтобы государь ее братьям в их вине милость показал.

Собор единодушно вынес решение: перед государем царем Федором Михаила и Григория Нагих и угличских посадских людей измена явная, а смерть царевича приключилась Божиим судом; впрочем, дело это земское, в царской руке и казнь, и опала, и милость, собору же должно молить Господа Бога, Пречистую Богородицу, великих русских чудотворцев и всех святых о царе и царице, об их государственном многолетнем здравии и тишине от междоусобной брани.

Царь приказал боярам разобрать дело и казнить виновных. Годунова в эти дни не было видно ни на соборе, ни в думе – хотел исключить всякое подозрение о каком бы то ни было давлении на их решения с его стороны. Нагих привезли в Москву, пытали крепко и потом сослали в отдаленные города. Царицу Марию насильно постригли в монахини под именем Марфы и отправили в монастырь св. Николая на Выксе, близ Череповца. 200 угличан казнили; другим отрезали языки, многих заточили в темницы, а 60 семейств выслали в Сибирь и населили ими город Пелым. Не пощади-

ли и угличский набатный колокол: по царскому приказу лишили его крестного знамения, отсекли ухо, вырвали язык, били плетьми и вывезли в Тобольск. (Тобольский воевода князь Лобанов-Ростовский приказал сдать колокол без уха в приказную избу, где он и был записан, как «первоссыльный неодушевленный с Углича».) Тела Битяговского и других убитых, брошенные в общую яму, вырыли, отпели и предали земле с честью. Вдовам и мамке Волоховой пожаловали поместья.

На этом заканчивается история Дмитрия, князя Угличского.

Дальше начинается история Дмитрия, царя Московского.

III. Правление Годунова

Безмятежно протекли еще семь лет царствования Федора. Неблагоприятные для Годунова толки о происшествии в Угличе утихли, имя Дмитрия забылось.

В январе 1598 года на сорок первом году жизни скончался царь Федор. С его смертью официально пресеклась династия Калиты на московском престоле (царевна Федосья, – единственный ребенок, появившийся от брака Федора с Ириной, – умерла вскоре после своего рождения в 1592 году). Бояре присягнули было царице Ирине, но она через девять дней после смерти мужа постриглась в монахини. Тогда собравшийся в феврале Земский собор под председательством патриарха Иова избрал на царство Бориса Годунова.

Хорошо известно, какой политический спектакль был при

этом разыгран. Борис удалился к сестре в Новодевичий монастырь, будто бы сторонясь всего мирского. Стрельцы и приставы силой согнали народ под окна царицы-инокини бить ей челом и просить ее брата на царство. Народные вопли и рыдания не стихали много дней (слезы составляли важную часть древнерусского ритуала, поэтому за неимением их некоторые челобитчики мазали луком глаза или просто мочили веки слюной). Когда царица подходила к окну, народ с волчьим воем падал ниц, устилая живым ковром монастырский двор; замешкавшихся приставы пинками в шею гнули к земле. От натужного вопля багровели лица, рассеклись утробы кричавших, невозможно было находиться рядом с ними, не зажав ушей. Царица, тронутая зрелищем народной преданности, благословила брата на царство. Патриарх от имени земских людей несколько раз приходил в келью Бориса и упрашивал его принять державу, грозя даже в случае отказа отлучить его от церкви и прекратить отправление богослужения по всей стране. Наконец добились его согласия. С видом великой скорби Борис залился слезами и, подняв глаза к небу, сказал: «Господи боже мой, я твой раб; да будет воля Твоя!»

Так повествуют об этом событии все русские летописцы. Вероятно, в этих рассказах содержится изрядная доля преувеличения, поскольку они создавались в то время, когда официальная традиция уже рассматривала Годунова, как властолюбивого преступника, старавшегося всеми правдами

и неправдами утвердиться на московском престоле. Во всяком случае комедия с избранием была разыграна не только по одной личной прихоти Бориса; это была уловка, при помощи которой он хотел уклониться от навязываемых ему боярами условий. Одно современное известие говорит, что бояре добивались, «чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал», то есть подписал некий акт, ограничивающий его власть. Таким образом, затянувшееся избрание на царство было, так сказать, войной нервов: бояре молчали, ожидая, что Борис сам заговорит с ними о крестоцеловании, а Годунов отмалчивался, не уступая и не отказываясь прямо, в надежде, что Земский собор выберет его без всяких условий. Борис перемолчал бояр, но тем самым подготовил свою будущую гибель, поставив себя в оппозицию родовой знати, все еще могущественной, несмотря на опричный разгром. Современники прямо объясняют несчастья Бориса и его семьи негодованием чиноначальников всей Русской земли, от которых «много напастных зол на него восстало».

Венчание на царство состоялось 1 сентября. В церкви Борис громко сказал патриарху поразившие всех слова: «Бог свидетель, отче, в моем царстве не будет нищих и бедных». Затем, дернув ворот рубашки, он добавил: «И эту последнюю разделю со всеми!»

И действительно, царствование Бориса открылось невиданными щедротами и милостями. Крестьяне были освобождены на один год от уплаты податей, а инородцы – от

ясачного платежа; купцы получили право беспошлинной торговли сроком на два года, служилым людям выдали разом годовое жалованье. Закрылись кабаки, где народ пропивался до исподнего, сидевшие в тюрьмах вышли на свободу, опальные получили прощение, казни прекратились совсем, вдовы, сироты и нищие получили вспоможение. Царь строил новые города – Цивильск, Уржум, Царево-Кокшайск, Саратов, Царицын, укреплял старые, украшал Москву, «как невесту», по выражению патриарха Иова. Даже недоброжелатели Бориса отмечали, что он «всем любезен бысть» и что в первые два года его царствования Россия цвела всеми благами.

И вдруг все изменилось. В 1600 году возобновились опалы. Особое ожесточение Борис проявил по отношению к Бельскому и семье Романовых. Бельского привезли в Москву и били кнутом; кроме того, Борис приказал своим немецким докторам выщипать ему бороду. Четырех братьев Романовых обвинили в стремлении «достать царство» и отравить Бориса. Старшего, Федора Никитича, постригли в монахи под именем Филарета; его жену вместе с детьми, среди которых находился малолетний Михаил – будущий основатель династии, сослали в Пермскую волость. Прочих братьев рассеяли по отдаленным городам. Ссылка постигла и дьяка Василия Щелкалова (его брат Андрей был удален от дел еще в 1593 году). Царицу Марфу, вдову Грозного, которой в последние годы царствования Федора было разрешено жить в Москве, отослали в дальний монастырь, верст за 600 от сто-

лицы. Впрочем приставам, назначенным следить за ссыльными, было приказано заботиться о безопасности поднадзорных и их безбедном содержании, но в то же время строжайше предписывалось следить, чтобы они не общались ни с одной живой душой и ни с кем не переписывались, словно Борис стремился пресечь тайные сношения бояр с кем-то. Тогда же Годунов распорядился сделать перепись монахов по монастырям.

На этом царь не успокоился. Шпионство и доносы приобрели необыкновенный размах, сопровождаясь пытками, казнями и разорением домов. Стало страшно упоминать само имя Бориса – за одно это царевы соглядатаи хватали людей и тащили в пыточную. Сам царь спрятался во дворце и почти не появлялся перед народом. Сначала никто не мог понять причину этих погромов. Было ясно, что Борис кого-то ищет, и этот *неведомый кто-то*, представляет большую угрозу для царя. Потом распространился слух, что около 1600 года в Литву ушел некий юноша, и будто бы это не кто иной, как царевич Дмитрий, чудесно спасшийся от убийц, подосланных Годуновым. Это известие, как молния, осветило умы людей, тайная причина гонений стала ясной. Француз Жак Маржерет, служивший тогда в иноземной гвардии Бориса, определенно говорит в своих записках, что пытки и доносы начались из-за «распространившихся в народе слухов о живом Дмитрии».

В 1603 году слухи получили подтверждение. Спасенный

царевич открыто объявил о себе в Польше.

IV. Неведомый кто-то

1 ноября 1603 года папский нунций в Польше Клавдио Рангони был вызван Сигизмундом III в Вавельский дворец в Кракове. Король желал переговорить с ним по одному важному делу.

Рангони был родом из Италии. Его семья издревле занимала почетное место в Моденском патрициате. Двадцатилетним юношей Рангони получил докторскую степень в Болонском университете и выбрал духовное поприще. Папа Климент VIII назначил его епископом города Реджио; эта должность была связана с княжеским достоинством. Здесь, в Реджио наметилась главная отличительная черта его карьеры: собственная деятельность Рангони всегда имела весьма посредственные результаты, но от времени до времени, независимо от его усилий, ему представлялся счастливый случай, который он умело использовал. Так, он тщетно старался завести у себя в епархии еженедельные чтения Святого Писания, но был вынужден оставить это намерение из-за нехватки подготовленных священников. И вот, словно из жалости к пастве молодого епископа, оставшейся без живого глагола, Господь явил в Реджио нечто лучшее, чем слово – чудо. В одной маленькой часовне перед иконой Пречистой Мадонны Божья милость внезапно проявилась на глухом и слепом мальчике, который вдруг прозрел и обрел слух. Рангони тотчас назначил авторитетную комиссию из богословов,

юристов и врачей для исследования чудесного исцеления и отослал обширный доклад в Рим. Народ повалил в часовню, чая дальнейших чудес. Не прошло и года, как обильные пожертвования позволили Рангони заложить на месте часовни новую великолепную церковь.

В 1599 году папа назначил Рангони своим нунцием в Краков. Эта видная должность открывала перед ним самые блестящие перспективы. В политическом отношении Польша в то время представляла собой центр антитурецкой коалиции; в религиозном – являлась оплотом недавно заключенной унии с православной Литвой и форпостом католичества на востоке. В общем, умному и практичному политику здесь было над чем поработать. К тому же по возвращении из Польши нунции обычно получали кардинальскую шапку.

Целенаправленные усилия Рангони, как дипломата, и здесь не имели серьезных последствий. Создание антитурецкого союза ограничилось браком Сигизмунда III с австрийской эрцгерцогиней Констанцией. Попытка привлечь Россию к унии посредством объединения ее с Речью Посполитой потерпела полную неудачу. Канцлер Лев Сапега, бывший в 1600—1601 гг. с посольством в Москве, встретил там очень холодный прием и уехал, предварительно отослав королю обстоятельный план войны против русских.

Конечно, следует принять во внимание, что все в Польше было в новинку для итальянца. Видимо, это понимали и в Риме, поэтому Климент VIII не выказывал неудоволь-

ствия, по крайней мере открытого, своим краковским нунцием. Более того, в Ватикане Рангони ценили как отличного информатора. В этом деле он действительно проявлял завидную расторопность. Он пересылал папе не только копии документов королевской канцелярии; однажды в его руки попали даже важные бумаги Венецианской республики. Донесения Рангони, аккуратные, сухие и обстоятельные, были незаменимы для анализа политической обстановки в Польше. Правда, излишняя дотошность нунция иногда приводила к курьезам. Так, в одной депеше, описывая свою встречу с Замойским во время дворцового обеда, Рангони подробно изложил речи гетмана. Тот начал с Ливонской войны, припомнил, как утром перед взятием Вейсенштейна слышал ангельские напевы псалмов на латинском языке, потом перешел к венгерским делам и кончил обещанием навсегда покончить с турками, если король даст ему мало-мальски приличную армию. Судя по серьезному тону письма, Рангони, кажется, совершенно не заметил, что старый вояка явно перебрал за обедом венгерского.

Нунций приехал в Краков полный радужных надежд. Спустя четыре года его энтузиазм несколько остыл. И вдруг на упомянутой аудиенции у короля он услышал настолько необычные вещи, что сразу понял: судьба снова предоставляет ему счастливый шанс.

Сигизмунд казался озадаченным. Он поделился с Рангони странными слухами, распространившимися по государ-

ству. В Польше появился загадочный юноша, который называет себя Дмитрием, сыном покойного московского государя Ивана Васильевича. Некоторые русские люди уже признали его истинным царевичем. Сейчас он находится в Брагине у князя Адама Вишневецкого, который прислал королю письмо с описанием необыкновенной судьбы этого молодого человека. Весьма занимательная история. Но интереснее всего то, что объявившийся царевич хочет ни много ни мало, как вернуть родительский престол с помощью казаков и татар. Вполне безумное предприятие! Однако не мешает познакомиться с этим храбрецом поближе. Вишневецкому уже послан королевский приказ привезти Дмитрия в Краков.

Через неделю Рангони раздобыл копию письма Вишневецкого и, переведя на латынь, отослал в Рим. Вишневецкий заверял, что записал лишь то, что сообщил ему царевич. Рассказ касался главным образом угличского происшествия и находился в разительном несоответствии с выводами официального следствия. Дмитрий прямо обвинял Годунова в преступном злоумышлении на свою жизнь. По его словам, Борис задумал овладеть престолом сразу после смерти Ивана Грозного. Для осуществления своего намерения он был готов пойти на что угодно. Царь Федор был не в силах препятствовать его замыслам, так как сам мог в любой момент оказаться на Белоозере. Последнее препятствие на пути Бориса – царевича Дмитрия – можно было устранить только преступлением. Борис ни минуты не поколебался. Царевича в

Угличе окружали верные слуги. Все они были отравлены каким-то тонко действующим ядом, а их место заняли предатели, которым было велено отравить Дмитрия. Но преданный воспитатель царевича воспрепятствовал этому намерению. Тогда к Дмитрию подослали наемных убийц. Воспитатель и тут разгадал замыслы злодеев и пошел на хитрость: зная, что убийцам велено было зарезать царевича ночью в его постели, подменил своего воспитанника другим мальчиком – одним из двоюродных братьев царевича, примерно одного с ним возраста. Убийцы, не подозревая подмены, совершили свое злодеяние. Во дворце поднялся шум. Мать царевича и народ, думая, что убили Дмитрия, перебили людей Годунова. Затем мятеж охватил весь город, и в общей резне погибло еще около 30 детей, благодаря чему исчезновение двоюродного брата царевича прошло незамеченным. Борис был обманут, как и другие, и для сокрытия следов своего преступления он выдал убийство за самоубийство, а верных угличан отправил в ссылку. Между тем воспитатель укрыл Дмитрия в безопасном месте. Вскоре он умер, но перед смертью доверил воспитанника одному верному человеку, которому раскрыл тайну. Когда умер и этот человек, Дмитрий по его совету постригся в монахи. Долгое время бродил он по Руси, стучась в дома и, как последний нищий, выпрашивая кусок хлеба. Однажды его царственная внешность выдала его – некий монах признал в нем царского сына; спасая себя, Дмитрий бежал в Польшу. Никому не ведомый, он некоторое время жил в

Остроге и Гоще, а потом, не выдержав бремени своей тайны, открылся Вишневецкому.

Климент VIII отнесся к первому известию о Дмитрии скорее насмешливо, чем серьезно. На полях донесения Рангони он приписал: «Sara uno altro re di Portogallo resuscitato» («Это вроде воскресшего короля Португалии»). Этим он намекал на многочисленных Лже-Себастьянов, которые не так давно наводнили Португалию после загадочной гибели в Танжере короля Себастьяна I (тело его не было найдено после несчастной для португальцев битвы при Эль-Ксар-эль-Кебире в 1574 году). Какое впечатление произвело письмо Вишневецкого на Сигизмунда III, сказать с полной достоверностью трудно. Пример Молдавии, где начиная с 1561 года при помощи украинских казаков на престоле побывало несколько самозванцев, несомненно поселил в нем скепсис к подобного рода предприятиям; Сигизмунд даже наложил на казаков обязательство не принимать более к себе разных «господарчиков». Однако теперь чутье подсказывало ему, что речь идет не просто о заурядном проходимце и, к слову сказать, не о какой-то Молдавии. Следует принять во внимание, что король был не только ревностным католиком, но и художником, причем художником неплохим (одну из его картин, где он изобразил себя укрощающим ересь, специалисты еще в конце XIX века приписывали Рубенсу!), следовательно, как натура религиозная и творческая одновременно, обладал сильно развитым воображением и наклонностью к алогич-

ному мышлению. Не лишне будет также напомнить читателю, что на протяжении последних двухсот лет десятки историков, вооруженных новейшими методами науки, оказались не в состоянии прояснить вопрос о личности человека, называвшего себя царевичем Дмитрием; так можно ли ставить в вину Сигизмунду то, что он увлекся этой загадкой?

Во всяком случае король подошел к этому делу чрезвычайно осторожно. 15 февраля 1604 года он разослал окружное послание сенаторам, в котором с некоторыми искажениями пересказал историю Дмитрия, изложенную в письме Вишневецкого: «Тот, который в настоящее время выдает себя за сына Ивана, передают следующее: его учитель, человек благоразумный, заметив, что умышляют на жизнь того, который поручен был его опеке, взял – при появлении тех, которые должны были убить Дмитрия, – другого младенца, отданного ему на воспитание, который ничего не знал об этом обстоятельстве, и положил его в постель Дмитрия; таким образом этот младенец, неузнанный, ночью в постели был убит, – а того учитель укрыл, потом отдал в надежное место для восптания; подросши, уже после смерти учителя, он – для прикрытия себя – поступил в монахи и затем отправился в наши пределы; отсюда, признавшись и объявивши, что он сын великого князя, отправился к князю Адаму Вишневецкому, который дал нам знать о нем…» Далее король просил сенаторов сообщить ему, что они знают и думают об этом человеке.

На послание Сигизмунда откликнулось около 20 сенаторов. Большинство из них королевский запрос о Дмитрии застал врасплох – они или вообще ничего не слыхали о нем, или могли сообщить только весьма противоречивые слухи.

Первые следы Дмитрия обнаруживаются не ранее 1601 года в Киеве, где он под видом монаха явился ко двору здешнего воеводы князя Константина Острожского. Этот могущественный литовский пан русского происхождения выступал рьяным поборником православия в русских областях, принадлежавших Литве. В его владениях находили убежище противники Брестской унии, православные святыни Киева находились под его покровительством и привлекали толпы богомольцев. Князь был большой хлебосол, держал у себя около двух тысяч человек челяди и не отказывал в куске хлеба пришлым православным людям. За столом у него кормили наотвал: передают, что один из его слуг, некий Богдан, съедал за завтраком жареного молочного поросенка, гуся, двух каплунов, кусок говядины, три больших каравая хлеба, огромный круг сыра, запивая все это восемью литрами меда! После этого он с нетерпением ждал не менее сытного обеда.

Поговаривали, что Дмитрий открылся князю Острожскому, но воевода, приняв его за авантюриста, приказал слугам вытолкать его в шею за ворота. Сам князь в письме королю отрицал, что знаком с Дмитрием. Однако его сын Януш, краковский кастелян, подтвердил пребывание Дмитрия во владениях своего отца и – единственный из всех сенаторов –

указал на свое личное знакомство с ним: «Я знаю Дмитрия уже несколько лет, он жил довольно долго в монастыре отца моего в Дермане; потом он ушел оттуда и пристал к анабаптистам: с тех пор я потерял его из виду». Возможно, что Дмитрий жил в Дерманском монастыре без ведома Константина Острожского.

Затем Дмитрий объявляется в Гоще, на Волыни. Здесь верховодил пан Гавриил Гойский, последователь социнианского учения, или так называемой арианской секты. Социниане отрицали троичность Божества, признавали существование единого Бога, а Иисуса Христа считали боговдохновенным человеком, указавшим людям путь к спасению. Христианские догматы и Библию они понимали символически-иносказательно, отдавая предпочтение разуму перед верой, проповедовали веротерпимость, восставали против смертной казни, но признавали законность вооруженной борьбы за добро и справедливость. Невозможно отрицать, что Дмитрий обстоятельно познакомился с социнианским вероучением. Впоследствии многое в его словах и поступках выдавало неортодоксальность его религиозных взглядов. Никаких достоверных указаний на то, чем н занимался в Гоще, нет. Говорили, что он посещал одну из социнианских школ и служил на кухне у Гойского. Но светские навыки и военная выучка Дмитрия, обнаруженные им несколько позднее, говорят за то, что круг его общения состоял отнюдь не из простолюдинов. Неизвестно, за кого он выдавал себя в Гоще. Он

мог открыться Гойскому только в том случае, если позорный эпизод в Остроге является вымыслом, так как Гойский был маршалок (дворецкий) князя Острожского и невозможно предположить, что Дмитрий обратился к слуге после того, как потерпел неудачу у хозяина. Скудость сведений о нем свидетельствует скорее о том, что и в Остроге, и в Гоще он еще не заявил о своем царском происхождении.

Наконец в 1602 или 1603 году Дмитрий прибыл в Брагин. Здесь он поступил в «оршак» (придворную челядь) князя Адама Вишневецкого. Этот полурусский, полупольский Рюрикович, воспитанный в школе иезуитов и, несмотря на это, оставшийся ревнителем православия, сумел выкроить себе на берегах Днепра самостоятельное княжество – за счет Польши и России. Превосходно осведомленный о русских делах, он, конечно, знал и об угличском происшествии. Тем не менее он сразу и безоговорочно поверил в подлинность Дмитрия. Существует несколько версий относительно того, каким образом царевич открылся ему. По одному известию, Дмитрий опасно заболел (или, быть может, притворился больным) и попросил своего духовника, чтобы после смерти его похоронили, как царского сына. На удивленные вопросы священника он отказался отвечать, сказав, что все подробности тот узнает из бумаги, хранящейся у него под кроватью. Духовник все рассказал князю, и они вдвоем немедленно отправились в комнату Дмитрия и в самом деле нашли документ, о котором он говорил, удостоверяющий,

что княжеский слуга на самом деле является русским царевичем. Когда Дмитрий выздоровел, Вишневецкий окружил его почетом, одел в богатое платье, приставил к нему слуг, дал парадную карету с шестеркой великолепных лошадей и начал обращаться с ним с подобающим его сану уважением.

По другому известию, князь взял Дмитрия с собою в баню в качестве слуги и там, рассердившись на его нерасторопность, сильно обругал и ударил. Не выдержав такого оскорбления, Дмитрий горько заплакал и сказал князю: «Если бы ты знал, кто я такой, то не ругал бы и не бил меня: я московский царевич Дмитрий». В доказательство истинности своих слов он показал князю осыпанный бриллиантами нательный крест – подарок его крестного отца, князя Ивана Федоровича Мстиславского.

Третья история носит романтический характер. Согласно ей, Дмитрий открыл себя не у князя Адама Вишневецкого, а у его брата Константина, к которому приехал в свите князя Адама. Здесь, впервые увидев панну Марину, дочь князя Юрия Мнишека, он влюбился в нее и положил ей на окно письмо с описанием своей несчастной судьбы. Марина вызвала его для объяснений, спрятав отца и братьев Вишневецких у себя в комнате, за ширмой. Услышав рассказ Дмитрия, паны поверили ему и обещали руку Марины.

Сейчас уже невозможно отделить правду от вымысла в этих историях (впрочем, письмо Вишневецкого подтверждает версию об открытии Дмитрием своего царского проис-

хождения во время болезни). Как бы то ни было, доказательства Дмитрия вполне удовлетворили князя Адама. Несомненно, что Вишневецкий еще больше убедился в правоте его рассказа, когда в Брагин стали стекаться беглые русские люди – все они, как один, сразу признавали в Дмитрии истинного царевича.

Таковы сведения о Дмитрии, которыми Сигизмунд III мог располагать к началу 1604 года. Сенаторы, откликнувшиеся на его окружное послание, отнеслись к истории царевича с недоверием. Так, епископ Плоцкий Альберт Барановский писал: «Этот московский князек для меня очень подозрительная личность. В его истории есть весьма неправдоподобные факты. Во-первых, как мать не узнала умерщвленного сына? Во-вторых, к чему было убивать еще 30 детей? В-третьих, как мог монах узнать царевича Дмитрия, которого никогда не видел? Самозванство вещь не новая. Бывают самозванцы в Польше между шляхтою, при разделе наследства; бывают в Валахии, когда престол остается незанятым; были самозванцы и в Португалии: всем известны приключения так называемого Себастьяна. Потому без веских доказательств полагаться на Дмитрия не следует».

Но в целом в сенаторские письма не содержали ничего определенного. Королю предлагалось следить за Дмитрием, не допускать его сношений с казаками и подвергнуть строжайшей проверке его подлинность. Ян Остророг советовал назначить царевичу пенсию и отослать к папе в Рим на жи-

тельство.

Возражения Барановского были очень вескими. Но с другой стороны, Сигизмунд не мог не заметить, что в письме Вишневецкого со слов Дмитрия сообщаются такие факты о жизни московского двора двадцатилетней давности, которые и в польском сенате были известны далеко не всем: например, сведения о сватовстве Грозного к Мэри Гастингс, державшемся русской дипломатией в секрете, или рассказ о гибели малолетнего сына Ивана Васильевича, утонувшего в Белоозере. В конце концов король поручил канцлеру Льву Сапеге расследовать подлинность царевича. Следствие дало потрясающие результаты. Один из слуг Сапеги, некто Петровский, беглый русский, сказал, что в свою бытность в России служил у Нагих в Угличе и теперь сможет опознать царевича или уличить самозванца в подлоге. Вместе со свитой канцлера он вошел к Дмитрию и, увидев его, сразу закричал: «Это истинный царевич Дмитрий!» (по другим сведениям, Дмитрий первый опознал своего бывшего слугу). Затем он пояснил, что опознал царевича по приметам – разной длине рук и бородавке у носа; кроме того на плече Дмитрия оказалось красное родимое пятнышко, которое, по словам Петровского, было и у угличского царевича. Нашелся еще какой-то ливонец, взятый поляками в плен под Псковом: он также утверждал, что знал царевича еще при Иване Грозном. Переговорив с Дмитрием, он заявил: «Это настоящий царевич Дмитрий. Я узнал его по знакам на теле; кроме того, я

его расспрашивал. Он помнит много такого, что случалось в его детстве, и чего другой не мог бы знать». (Впрочем, нельзя исключить, что Петровский и ливонец – это на самом деле одно и то же лицо.)

Между тем русские власти начали требовать выдачи Дмитрия, называя его самозванцем. Однако создавалось впечатление, что они само не знают твердо, о ком идет речь. Черниговский воевода Татев писал старосте Остерскому: царевич Дмитрий зарезался в Угличе 16 лет тому назад (то есть в 1588 году) и погребли его в Угличе в соборной церкви Богородицы, а теперь монах-расстрига Григорий Отрепьев, вышедший в Польшу в 1593 году, называет себя его именем. Но русское окружение Дмитрия отвечало: соборной церкви Богородицы в Угличе нет, а есть церковь Спаса; и угличское происшествие случилось не в 1588 году, а в 1591; царевич же вышел в Польшу в 1601 году, а до 1593 года и расстриги ему дела нет. В другой официальной грамоте говорилось, что царевич зарезался, когда ему было 13 или 14 лет, что явно несоответствовало истине. В общем доказательства русских властей весьма походили на наспех состряпанную фальшивку.

Вскоре дело еще более запуталось. В окружении Дмитрия появился и сам Григорий Отрепьев, который затем отправился в Сечь поднимать казаков. Около того же времени донские казаки разбили отряд воеводы Семена Годунова и отпустили нескольких стрельцов в Москву с наказом: «Скажите,

что и мы скоро будем вслед за вами с царевичем Дмитрием!» В Москве и на русских окраинах народ волновался; назревал мятеж. В этих обстоятельствах вопрос о подлинности Дмитрия отходил на второй план; московский беглец превращался в крупную политическую фигуру, а в политике единственным мерилом правоты отстаиваемого дела является успех.

***

Как мог убедиться читатель, единственным документом, удостоверяющим личность Дмитрия, является письмо Адама Вишневецкого Сигизмунду. История, рассказанная там, с некоторыми вариациями и дополнениями воспроизводилась и в последующих манифестах и заявлениях Дмитрия. Вплоть до конца XIX века историки не придавали этому письму особенного значения, считая его документом более позднего времени, и только изыскания историка Павла Осиповича Пирлинга (он был иезитом и носил свщенникческий сан) в Ватиканских архивах, в результате которых было найдено донесение Рангони, содержащее латинский текст этого письма и датированное 8 ноября 1603 года, позволили заговорить о нем, как о источнике первостепенной важности. По сути, это первое документальное известие о Дмитрии, причем записанное, по уверению Вишневецкого, с его собственных слов. Пирлинг и позднейшие исследователи использовали его, как доказательство самозванства Дмитрия. Ход их рассуждений был таков. Дмитрий впервые называет себя спасшимся московским царевичем. Понятно, что он

должен представить наиболее веские доказательства своей подлинности. Между тем его рассказ изобилует неясностями, нелепостями и противоречиями: он почему-то называет Ивана Грозного, – как-никак, своего отца, – тираном, прелюбодеем и сыноубийцей, говорит о смене слуг во дворце, о каком-то двоюродном брате и 30 убитых детях; сама драма у него разыгрывается ночью, поведение его матери и вовсе необъяснимо; а главное он не называет никаких имен, словно стараясь не прояснить, а затемнить обстоятельства своего спасения. Раз у него не нашлось других доказательств, заключают сторонники мнения о самозванстве Дмитрия, значит, их не было совсем.

Прежде чем изложить свои соображения по этому поводу, замечу, что все-таки мы имеем дело с пересказом пересказа, к тому же переведенным на другой язык (подлинник письма утерян). Кроме того, мы не знаем, насколько точно Вишневецкий передал рассказ Дмитрия. Малейшее умалчивание или, наоборот, какие-либо дополнения в могут играть существенную роль в подобного рода документах. Для примера можно сравнить письмо Вишневецкого с письмом Сигизмунда: читатель согласится, что последнее, лишенное многих подробностей, производит гораздо более благоприятное для Дмитрия впечатление.

Но допустим, что хотя бы в общих чертах мы имеем дело с настоящим рассказом Дмитрия о себе самом. В этом случае, не следует ли исследователю, придерживаясь принципа

презумпции невиновности, прежде всего задать себе вопросы: почему наш подозреваемый сообщил о себе именно эти сведения, и что вообще он мог о себе сообщить?

А чтобы получить ответы на эти вопросы, нам придется вернуться назад и посмотреть, что же на самом деле произошло в Угличе 15 мая 1591 года.

V. Три Дмитрия

Имеем ли мы основания подвергать сомнению выводы следственной комиссии, работавшей в Угличе в 1591 году? Да, имеем, причем поступая таким образом, мы лишь последуем примеру одного из следователей – Василия Шуйского. Сев в 1606 году на московский престол, он без тени смущения заявил о том, что царевич Дмитрий был зарезан 15 лет назад по приказу Бориса Годунова. Никто не противоречил ему – ни тогда, ни еще много лет спустя. В том же 1606 году мощи Дмитрия были перевезены из Углича в Москву и канонизированы. Мотивы, побудившие Шуйского отрицать собственные слова, станут ясны несколько позже; пока же рассмотрим саму версию об убийстве царевича.

Согласно рассказу, с небольшими изменениями повторяемому в большинстве русских летописей и житии св. Дмитрия, Годунов, добиваясь трона, несколько раз пытался избавиться от царевича. Покушения на его жизнь начались почти сразу же после приезда Нагих в Углич. Сначала Борис действовал при помощи яда, но после безуспешных попыток отравить Дмитрия, решился пролить невинную кровь

младенца. Организатором убийства стал окольничий боярин Андрей Петрович Клешнин, ближайший доверенный Бориса. С большим трудом ему удалось найти людей, взявшихся исполнить задуманное преступление. Это были дьяк Михаил Битяговский, его сын Данила и племянник Никита Качалов; в Угличе, куда они приехали в 1591 году, к ним примкнули мамка царевича Василиса Волохова и ее сын Осип. Царица Мария, чуя неладное, удвоила бдительность, но не смогла уберечь сына. В субботу 15 мая, около полудня, мамка, улучив момент, когда царица отвлеклась, вывела Дмитрия во двор. Здесь его уже поджидали убийцы. Осип Волохов подошел к ребенку и нанес ему удар ножом в шею. Однако тяжелое золотое оплечье, усыпанное драгоценными камнями, спасло Дмитрия от немедленной смерти. Кормилица Арина Жданова подняла крик, и Осип поспешно бежал со двора, оставив свою жертву на руках у преданной женщины. Тогда Качалов и Данила Битяговский, избив кормилицу до полусмерти, вырвали Дмитрия из ее объятий и прикончили его. Прибежавшая на крик царица застала сына уже мертвым. Тем временем сторож церкви Спаса, видевший все с колокольни, ударил в набат. Михаил Битяговский хотел остановить его, но, не сумев открыть запертую дверь на колокольню, пошел на дворцовый двор, куда уже сбежался народ. Дьяк попытался отвести обвинение в убийстве царевича от своих сообщников, уверяя толпу, что Дмитрий зарезался сам в припадке падучей. Ложь не помогла; угличане бро-

сились на него, умертвили, а затем расправились с остальными убийцами и их предполагаемыми соучастниками, которые перед смертью покаялись и назвали имя главного виновника злодеяния – Бориса Годунова. Волохову оставили в живых для дачи показаний. В Москву был послан гонец с известием о случившемся. Но царь Федор Иванович узнал страшную новость не от него, а от Бориса, который исказил истину и отговорил царя от поездки в Углич, под предлогом того, что в его окрестностях свирепствует мор. Следственная комиссия, состоявшая из преданных Годунову людей, ввела царя и собор в заблуждение; разгром Углича окончательно скрыл следы преступления.

Версия об убийстве Дмитрия долгое время обладала всеми преимуществами официальной точки зрения, за чью достоверность ручались государство, церковь и наука. Между тем она содержит в себе столько уязвимых мест, что ее почти трехвековое господство в российской исторической науке может быть объяснено только вмешательством цензуры.

Здесь уместно вспомнить один малоизвестный случай из жизни Н.М. Карамзина, рассказанный профессору Н.М. Павлову его коллегой, историком М.П. Погодиным. По словам последнего, в 1823 году, накануне выхода X тома «Истории государства Российского», он побывал в Петербурге в гостях у Карамзина и услышал от него буквально следующее:

– Радуйтесь, – сказал великий историограф, – теперь уже скоро прочтете мой новый том – и Борис Годунов оправдан!

Пора наконец снять с него несправедливую охулку.

«Понятно, с каким нетерпением ждал я выхода книги, – рассказывал Погодин Павлову. – Когда наконец получил ее, со страхом и трепетом приступил к чтению. Подхожу к страницам о происшествии в Угличе. Читаю – и глазам не верю. Все навыворот тому, о чем сам он мне говорил с таким восхищением… И вот десятки лет прошли с тех пор, а я всякий раз, как перечитываю этот заколдованный том, слышу – как сейчас звучат они у меня в ушах, – слышу тогдашние его слова. Не могу забыть, не могу и объяснить… Загадка для меня!»

Павлов в ответ возразил, что Карамзин пошел наперекор своим научным убеждениям вполне добровольно, следуя тому взгляду на роль научной критики, который он высказал еще в 1803 году в своей известной статье: «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице». Упомянув в ней о месте погребения Годунова и обо всем, что связано с этим именем, Карамзин писал далее: «Русскому патриоту хотелось бы сомневаться в сем злодеянии… Что если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?» И однакоже, словно стараясь заглушить в себе вдруг нахлынувшие сомнения, он заключил свои рассуждения довольно странной для историка мыслью: «Но что принято, утверждено общим мнением, то делается некоторого рода святынею; и робкий историк, боясь заслу-

жить имя дерзкого, без критики повторяет летописи».

Увы, в данном случае последние слова Карамзина полностью применимы к нему самому. «Робость» историка пошла на пользу русской литературе, подвигнув Пушкина на создание «Бориса Годунова», но вряд ли сослужила хорошую службу истории. Прошел еще не один десяток лет, прежде чем историки сняли с Бориса это тяжелое обвинение. В самом деле, версия об убийстве Дмитрия (кстати, вышедшая из лагеря политических противников Годунова) возбуждает многочисленные возражения. Уже одно то, что согласно ей Битяговские с Качаловым приехали в Углич незадолго до злополучного дня 15 мая, между тем, как теперь хорошо известно, что они находились там с 1584 года, то есть с того времени, когда Борис еще почти ничего не значил, серьезно подрывает достоверность рассказа. Сомнительна и та неосторожная откровенность, с какой ведет себя в летописях Борис. Принятие на себя прямого почина в этом деле, совещание с родными и друзьями о средствах извести царевича, ничем не скрываемая печаль после первых неудачных попыток отравить Дмитрия, утешение его Клешниным, обещающим исполнить его желание, – во всем этом видно скорее довольно наивное мелодраматическое воображение авторов, нежели реальное поведение Годунова – тонкого и осторожного политика. Довольно подозрительны время суток, выбранное убийцами для совершения преступления, оставление ими в живых единственного свидетеля – корми-

лицы Ждановой, и проявленная ими после убийства странная медлительность, позволившая угличанам настигнуть их. Сам способ устранения Дмитрия совсем не характерен для Бориса, предпочитавшего для расправы со своими противниками иные средства: пострижение и ссылку. Наконец в 1591 году перед Годуновым стояло гораздо более серьезное препятствие на пути к престолу – беременность царицы Ирины. Не лишне будет также напомнить, что Борис еще при жизни стал излюбленной мишенью политической клеветы, молва подозревала его в отравлении царя Федора, царевны Федосьи, Евдокии (дочери Марии Владимировны) и даже родной сестры Ирины. Сейчас уже никто из историков не верит этим грубым басням, к которым с полным основанием можно причислить и убийство царевича Дмитрия.

Любопытно само происхождение версии об убийстве. Оглядываясь назад, видим, что у ее истоков лежат показания Михаила Нагого в материалах угличского следственного дела. Этот брат царицы, названный чуть ли не главным виновником погрома, уже тогда – единственный из всех привлеченных к делу людей – утверждал, что царевич зарезан дьяками, и держался своих слов до самого конца, несмотря на пытки и явное противоречие с показаниями других свидетелей, в числе которых была вся его родня. Если он говорил правду, то почему молчала мать царевича и другие Нагие?

Как помнит читатель, материалы следственного дела были зачитаны на соборе в присутствии царя и патриарха. Уже од-

но это придает им значительно большую степень достоверности по сравнению с повествованием о заклании младенца, сочиненном 15 лет спустя ради определенных политических выгод. Очевидно, что в 1591 году следствие не могло полностью исказить самой сути дела, хотя протоколы допросов и содержат следы недобросовестности следователей.

Угличское следственное дело в том виде, в каком оно дошло до нас, представляет собой порченные временем листы с показаниями свидетелей; начало и конец у этого документа отсутствуют. Протоколы написаны по крайней мере семью почерками. Под многими показаниями нет собственноручной подписи допрашиваемого (это относится даже к показаниям Михаила Нагого). Подавляющее большинство свидетелей подтверждает факт самоубийства царевича в припадке падучей и ответственность Нагих за произошедшую в городе резню, но этот согласный хор голосов звучит, как эхо показаний главного свидетеля – мамки Василисы Волоховой. Вместе с тем в отношении многих важных деталей господствует полная путаница и неразбериха. Несмотря на это, следствие обошлось без очных ставок, а в ряде случаев даже без индивидуальных допросов, довольствуясь общими показаниями целой группы свидетелей. 94 человека из 152 опрошенных выступают в деле как очевидцы; между тем только один из них – стряпчий Семейка Юдин – говорит, что сам видел, как зарезался царевич. Почти все остальные твердят о самоубийстве, не поясняя источник своей осведомленности (сле-

дователи и не спрашивают их об этом), и лишь 19 человек признаются, что свидетельствуют о смерти царевича с чужих слов. Отсутствуют какие-либо указания на осмотр следователями тела Дмитрия. Вообще создается впечатление, что следствие было занято не столько выяснением обстоятельств смерти царевича, сколько составлением обвинительного акта против Нагих.

Впрочем направление следствия логически вытекало из тех условий и обстоятельств, в которых оно велось. Более чем вероятно, что члены комиссии преследовали собственно одну цель – не допустить, чтобы в связи со смертью царевича было произнесено имя Бориса. Тогда ход следствия можно представить следующим образом. Допросы начались, конечно, с членов семейства Нагих. Показания Михаила сразу поставили следователей в трудное положение: убийство 8-летнего царевича могло произойти, разумеется, только по политическим причинам, которые в виду их очевидности, можно было и не называть. Начиная с этого момента следователи были озабочены лишь тем, чтобы опровергнуть показания Михаила.

Тут-то, видимо, явился Русин Раков со своим разоблачением махинаций Михаила Нагого. Благодаря ему следователи получили твердую опору для дальнейшего расследования. Но необходимо было противопоставить показаниям Михаила свою версию случившегося. Допрос Василисы Волоховой все расставил по своим местам. Она подсказала об-

щую схему событий; воспроизвести ее в показаниях других свидетелей было уже делом техники. На возникающие по ходу дела несообразности не обращали внимания. Напоследок выяснили, что 15 мая Михаил Нагой был пьян, что окончательно лишило его показания всякой ценности.

Выше я уже обрисовал в общих чертах ход событий, как его представляют материалы дела. Нельзя сказать, что эта версия безупречна. Она построена почти целиком на показаниях Волоховой, однако мамка – весьма странный свидетель. Будучи по ее собственным словам избиваемой сначала царицей, потом ее братом, а затем и целой толпой угличан, она сохранила удивительную способность замечать все, что происходило в это время не только на дворцовом дворе, но и за его пределами. Еще удивительнее то, что мальчики, игравшие с царевичем в тычку, ни словом не обмолвились о ее присутствии на заднем дворе в тот момент, когда случилось несчастье! Но, пожалуй, наиболее поразительным и загадочным в этом рассказе является поведение царицы Марии. В самом деле, чем занята эта мать в то время, как ее сын умирает в судорогах, истекая кровью? Бьется ли она над ним, стараясь спасти его, облегчить страдания, или, может быть, она в отчаянии прижимает его к своей груди, моля Бога воскресить ее дитя? Ничего подобного. Не обращая никакого внимания на Дмитрия, она охаживает поленом провинившуюся мамку (кстати, тоже не пошевельнувшую пальцем, чтобы помочь царевичу), а потом вместе с братьями хладнокровно

руководит избиением мнимых убийц. Подобное же необъяснимое равнодушие к умирающему ребенку демонстрирует и вся дворня, с неподдельным воодушевлением гоняющаяся за дьяками.

Так можно ли на основании всего этого утверждать, что и в данном случае мы имеем дело с вымыслом, легендой, которая, правда, в отличие от летописного рассказа, не стала «некоторого рода святынею»?

Мой ответ: да – если придерживаться мнения, что 15 мая 1591 года царевич Дмитрий умер.

Нет – если предположить, что он остался жив.

***

Повторю еще раз: следствие не могло полностью исказить суть происшедшего. Произвольное толкование фактов и показаний, нажим на свидетелей – все это, разумеется, было. Но невозможно сомневаться в двух обстоятельствах: во-первых, в том, что царевич поранил себя в припадке эпилепсии и во-вторых, что Нагие засвидетельствовали перед толпой угличан насильственную смерть ребенка, чем и спровоцировали последующие убийства и грабежи.

Кто же еще, помимо Нагих, лично удостоверился в смерти Дмитрия?

Волохову, видимо, придется исключить, так как судя по всему у нее просто не было для этого времени. Кормилица Арина Жданова и постельница Мария Самойлова подтверждают факт самоубийства царевича, однако 15 мая они

вместе с Марией Нагой перед толпой угличан говорили совсем другое; кроме того нельзя упускать из виду, что обе эти женщины пользовались особым доверием царицы и, возможно, не без оснований. Остаются еще четверо мальчиков, товарищей царевича по игре в тычку. Вряд ли их подпустили к телу Дмитрия; впрочем, если это и произошло, можно ли ожидать от восьми-девятилетних ребят квалифицированного медицинского диагноза? Скорее всего они говорили о смерти Дмитрия со слов взрослых. Каких взрослых? Фамилии двоих мальчиков – Баженки Тучкова и Петрушки Колобова – совпадают с девичьими фамилиями кормилицы и постельницы. Если это их дети (а других обитателей дворца с такими фамилиями в протоколах не значится), то понятно, что ожидать противоречий в показаниях матерей и сыновей не приходится. К сожалению, ничего нельзя сказать про родителей двух других мальчиков. Во всяком случае дети дали групповые показания и вероятнее всего говорил за всех Петрушка Колобов, наиболее бойкий мальчик, о котором в протоколе сказано, что он побежал во дворец сообщить царице о несчастье, приключившемся с Дмитрием.

Кроме этих лиц нет никого, кто бы с полным правом мог претендовать на роль очевидца трагедии.

Действительно, в последующих событиях фигурирует только имя царевича, о нем самом – живом или мертвом – все как-то забывают (один Михаил Битяговский пытается обнаружить его в верхних ярусах дворца и ни с чем спуска-

ется вниз). Тело ребенка исчезает со двора еще до прихода толпы и вновь появляется в поле нашего зрения вечером, когда игумен Алексеевского монастыря Савватий посещает Марию в церкви Спаса у гроба сына; здесь же после ухода игумена убивают Осипа Волохова. Итак, *в течение пяти-шести часов ни одна живая душа, за исключением Нагих, не видела его*!

В это время и произошла подмена. Решаюсь утверждать, что в церкви Спаса принесли тело не настоящего Дмитрия, а какого-то другого ребенка.

Вижу недоверчивую улыбку читателя и все же продолжаю.

Проследим еще раз – теперь уже с точки зрения гипотезы о подмене тела – за действиями главных и некоторых второстепенных героев этой драмы.

Итак, царица Мария, выбежав по крику кормилицы на задний двор, берется за полено, а потом некоторое время вместе с братьями руководит толпой дворни и посадских людей, натравливая их на Битяговских и Качалова. Ее поведение хоть как-то объяснимо только в том случае, если она с первого взгляда убедилась в том, что жизни царевича не угрожает никакая опасность.

Нагие торопятся унести тело царевича со двора. Дядя царицы Андрей говорит, что сразу отнес его в церковь и был при нем «безотступно», «чтобы кто царевичева тела не украл». (Отметим, что Мария и теперь не спешит к телу сына.) Наконец Андрея у гроба ребенка (гроб накрыт по-

лотном!) сменяет мать, которая, демонстрируя запоздалую скорбь, безотлучно находится рядом с мертвым телом те несколько суток, пока его не предают земле. Эта усиленная охрана выдает стремление никого не подпустить к телу царевича. К тому же меня озадачивает этот детский гроб. Как могли его так быстро изготовить? Или он уже был приготовлен заранее?

Поведение Михаила Битяговского говорит в пользу укрытия тела. Его имя сразу названо в числе убийц Дмитрия. Между тем, его спокойно пускают на дворцовый двор, и не причиняют никакого вреда, пока он не бросается во дворец, словно, чтобы проследить, что делают Нагие. Когда он спускается вниз, его убивают. Может быть, следует предположить, что дьяк увидел нечто такое, что ему было не положено видеть?

По приказу Нагих толпа умерщвляет всех правительственных чиновников, которые знали Дмитрия в лицо (верховодят убийствами дворовые люди Нагих). Кроме того, погибает один человек из дворцовой челяди – Осип Волохов, и одна посторонняя – «женочка юродивая». Последним, кто видел Осипа, прячущегося за столп храма, где стоял гроб с телом царевича, был игумен Савватий. Не погубило ли сына мамки опасное любопытство? Приказ об убийстве «женочки юродивой» последовал от Марии Нагой спустя два дня после общей резни. Известно, что эту женщину часто приводили к Дмитрию для развлечения, следовательно, она прекрасно

его знала. Похоже, что царица опасалась ее показаний.

Посадского Савву плотника и еще нескольких человек Михаил Нагой приказал умертвить за то, что они во всеуслышание говорили, будто дьяки убиты «за посмех» – напрасно. Разве могли бы вестись такие разговоры, если бы погиб настоящий царевич?

Вечером того же дня 15 мая Нагие окружают Углич железным кольцом из верных людей, которые трое суток разъезжают вокруг города, не допуская сношений угличан с Москвой – не для того ли, чтобы дать кому-то время отвезти царевича в безопасное место? В эти дни бесследно исчезают из города несколько человек: доверенное лицо Михаила Нагого Тимоха, посадские люди Пашин, Буторин и Семухин. Вместе с ними пропадает дядя царевича Афанасий Нагой, который вскоре обнаружится при самых любопытных обстоятельствах – об этом чуть ниже.

После приезда следователей Дмитрия поспешно хоронят без пышных церемоний, то есть в присутствии одних близких царицы, не допуская в храм никого из посторонних, кроме членов следственной комиссии. У последних не могло возникнуть никаких подозрений, насчет подлинности ребенка. Напомню, что царевич был увезен из Москвы, когда ему еще не было двух лет; с тех пор ни один правительственный чиновник его не видел.

На допросах почти все участники и организаторы побоища вдруг начинают в голос твердить, что царевич зарезался

сам. Как же так? 15 мая все были уверены, что Дмитрий убит дьяками, без каковой уверенности, собственно, и не могли вспыхнуть беспорядки. Теперь же один Михаил Нагой придерживается версии об убийстве царевича, однако его махинации над телами убитых дьяков чересчур наивны, чтобы ввести комиссию в заблуждение. Складывается впечатление, что следствию всеми силами стараются доказать, что царевич умер – все равно каким образом. Когда следствие принимает версию о самоубийстве, Нагие заботятся только о том, чтобы уберечь себя от возмездия за погром в городе. Мария добивается аудиенции у митрополита Геласия и молит о помиловании братьев, твердя, что дело учинилось «грешное, виноватое» (то есть поддерживая направление следствия), и не требует никакого наказания для мамки и кормилицы, не усмотревших за царевичем.

Вот еще доказательство того, что царевич остался жив и был увезен из Углича, взятое из другого источника. Уже знакомый нам Джером Горсей в своих записках упоминает об одном событии, произошедшем 17 или 18 мая. Незадолго до угличских событий у Горсея возникли нелады с московским правительством, и его сослали в Ярославль, где он жил в постоянной тревоге за свое будущее. «Однажды ночью, – пишет он, – я предал свою душу Богу, думая, что час мой пробил. Кто-то застучал в мои ворота в полночь. Вооружившись пистолетами и другим оружием, которого у меня было много в запасе, я и мои 15 слуг подошли к воротам с этим оружи-

ем. «Добрый друг мой, благородный Джером, мне нужно говорить с тобой». Я увидел при свете луны Афанасия Нагого, брата вдовствующей царицы, матери юного царевича Дмитрия, находившегося в 25 милях от меня в Угличе. «Царевич Дмитрий мертв! Дьяки зарезали его около шести часов; один из его слуг признался на пытке, что его послал Борис; царица отравлена и при смерти, у нее вылезают волосы, ногти, слезает кожа. Именем Христа заклинаю тебя: помоги мне, дай какое-нибудь средство! Увы! У меня нет ничего действенного». Я не отважился открыть ворота, вбежав в дом, схватил банку с чистым прованским маслом (ту небольшую склянку с бальзамом, которую дала мне королева) и коробочку венецианского териака (целебного средства против животных ядов). «Это все, что у меня есть. Дай Бог, чтобы это помогло». Я отдал все через забор, и он ускакал прочь. Сразу же весь город был разбужен караульными, сказавшими, как был убит царевич Дмитрий».

Не странно ли? Почему бежит из Углича этот дядя царевича (кстати, не упомянутый ни единым словом в протоколах угличского дела и, следовательно, совершенно непричастный к убийствам) и куда он направляется? Он требует от Горсея лечебных средств для Марии, но в Углич не возвращается. И что это вообще за история с отравлением царицы? Заметим, что попутно Афанасий сеет в Ярославле слух об убийстве царевича – он, конечно, не знает, что Нагие в Угличе уже отказались от этой версии. Все указывает

на то, что Афанасий пытается оказать медицинскую помощь какому-то лицу, чье местопребывание в Ярославле держится в тайне. Обратим внимание, что перечисляя последствия мнимого отравления царицы, он подталкивает Горсея выдать ему средства для лечения кожных покровов и открытых ран. Но единственным близким ему человеком, требующим подобной медицинской помощи, мог быть только Дмитрий, поранивший себя ножиком в шею во время припадка!

И наконец последнее. Некоторые источники указывают, что царь Федор, очень набожный человек, как мы могли убедиться, никогда не заказывал заупокойных служб по Дмитрию. Между тем церковные правила не запрещают делать это в отношении самоубийц, покончивших с собой во время болезни, – а именно такова была официальная версия гибели царевича.

***

Попытаемся теперь связать все ранее сказанное и восстановить примерный ход событий 15 мая.

Незадолго до этого дня у царевича обнаружилась падучая. Один из припадков, – а именно тот, когда Дмитрий поранил свайкой мать, вероятно, пытавшуюся вырвать опасный предмет из рук бьющегося в судорогах сына, – случился во время игры в тычку. Как показывают дальнейшие события, несмотря на опасность для жизни мальчика, ему все-таки позволяли и дальше играть в эту игру, видимо, очень любимую им, но, конечно, заменили свайку на небольшой игрушечный но-

жик.

15 мая, в ожидании обеда, Дмитрий затеял с товарищами игру в тычку на заднем дворе. Внезапно начался новый припадок, и Дмитрий ранил себя своим ножиком. Рана не могла быть опасной, так как горло царевича защищало оплечье, но кровь все-таки показалась, а через минуту ребенок затих, обессиленный судорогами. В этот момент сопровождавшим его женщинам и четверым мальчикам могло показаться, что он умер. Действительно, в послеприпадочном состоянии больной эпилепсией может походить на труп: лицо синеет, полуоткрытые глаза закатываются вверх, зрачки не реагируют на свет, тело цепенеет, дыхание почти неразличимо. Кормилица подняла крик, что царевич убился, и, вероятно, вступила в перебранку с мамкой. Звонарь на колокольне, не разобрав хорошенько, в чем дело, но видя, что на дворе лежит тело царевича, ударил в набат. Однако, когда на дворе появилась Мария Нагая, полуобморочное состояние Дмитрия миновало. Предыдущие припадки показали, что существенной угрозы для здоровья мальчика они не представляют; рана на горле была просто царапиной. Царица, оставив сына, в гневе накинулась на Волохову, не досмотревшей за Дмитрием; между тем опытная кормилица занялась ребенком. Возможно, прибежавший на шум Осип Волохов вступился за мать, и обыкновенная перебранка переросла в жестокую ссору. Вероятнее всего, Осип водил дружбу с Битяговскими и был неприятен Марии. В это время вслед за сест-

рой из дворца вышли Михаил и Григорий Нагие, приехавшие обедать. Одновременно двор начал заполняться дворней и посадскими, привлеченными набатом. Вот тут-то у царицы и ее братьев и появился соблазн использовать ситуацию для сведения счетов с Битяговскими и их сторонниками – благо, ненависти к ним за шесть лет ссылки накопилось достаточно.

Спустя какое-то время Нагие, опомнившись, схватились за голову. Они поняли, что оказались ответственными за резню, которую ничем нельзя было оправдать, и что Борис не преминет воспользоваться этим обстоятельством для того, чтобы окончательно расправиться с ними. Избежать возмездия можно было единственным способом – инсценировав смерть Дмитрия и свалив вину за нее на окружение дьяка Битяговского. Очевидно, не последнее место в этом замысле, занимало и желание раз навсегда обезопасить жизнь Дмитрия от покушений: вспомним, что Нагие приписывали Годунову попытки отравить царевича.

Исполнить задуманное оказалось нетрудно: дворец на несколько часов опустел, дворня громила дьячные избы и двор Битяговского. Дмитрия укрыли в дальней комнате дворца, а в церкви поставили гроб с телом другого ребенка (вопрос о том, что это был за ребенок, пока опустим). Ночью Афанасий Нагой вывез Дмитрия за город, быть может, воспользовавшись казачьими судами, стоявшими в это время у пристани. В пользу участия казаков в сокрытии царевича

свидетельствует та необыкновенная преданность Дмитрию, которую проявили казачьи отряды в его походе на Москву.

Оставшиеся в Угличе Нагие договорились между собой поддерживать версию об убийстве Дмитрия. Но под нажимом следствия они были вынуждены отказаться от своих слов, и только Михаил упорно держался первоначального уговора, видимо, полагая в этом свое спасение. Такой ход следствия, все-таки позволявший скрыть исчезновение настоящего царевича – дело, от которого попахивало государственной изменой, – в общем тоже устраивал Нагих. И они оказались правы в своих расчетах. Нельзя не признать, что наказание, постигшее их, не соответствовало тяжести их вины. Мужчин отправили в ссылку, где они продолжали пользоваться свободой и даже занимали государственные должности. Правда, Мария поплатилась за 15 мая пострижением, но разве ее не утешала мысль, что этой ценой она спасла своего сына? Кроме того, жизнь цариц-инокинь в монастырях мало чем отличалась от их жизни во дворце, конечно, если сами они не придерживались добровольно монастырского устава.

Возможно и другое объяснение. Нельзя исключить, что последний припадок Дмитрия лишь ускорил выполнение уже существовавшего плана по его сокрытию. В этом случае можно предполагать более широкое участие дворни и угличан в событиях 15 мая, вплоть до приготовления обеих ложных версий – об убийстве и самоубийстве – для следствен-

ной комиссии. В общем в этом нет ничего невозможного. Углич был удельный город, и Нагие были в нем полновластными хозяевами. Вспомним также исконную преданность угличан своим князьям. При таком освещении событий коренным образом меняется роль Василисы Волоховой – из жертвы Нагих она превращается в их сообщницу, причем сообщницу страшную, пожертвовавшую им своим сыном.

Здесь нельзя обойти стороной вопрос о роли Василия Шуйского в этом деле. Остался ли он в неведении относительно подмены царевича или, догадавшись о чем-то, решил, что будет лучше, если до поры до времени Дмитрий официально исчезнет из числа живущих? Мне кажется, что та небрежность, с какой было проведено следствие, невнимание, проявленное к обстоятельствам смерти царевича, противоречия в показаниях свидетелей, не проясненные очными ставками и прочими средствами, бывшими в распоряжении следователей, – не говоря уже о том, что материалы следствия не были уничтожены во время царствования Шуйского, когда он всеми силами стремился отождествить Дмитрия с Григорием Отрепьевым, – говорят в пользу первого предположения. Ниже я приведу другие основания этого моего мнения.

Наиболее трудноразрешимым остается вопрос о личности погребенного вместо Дмитрия ребенка. До сих пор называлось только одно имя – некоего поповского сына Корион Истомина, но это не более чем предположение, как и

все, что говорилось и еще будет говориться по этому поводу. Ясно одно: исчезновение двойника царевича должно было остаться незамеченным, поэтому вряд ли он мог принадлежать к какому-нибудь угличскому семейству. Мне кажется, что наиболее вероятную кандидатуру нужно искать среди путешествующих богомольцев или нищих, стекавшихся в субботний день ко дворцовой церкви в чаянии милостыни. Несчастной жертвой мог оказаться, например, мальчик-поводырь. Не исключено, что внешне он мог несколько походить на Дмитрия и что кто-то из Нагих, выходя из церкви, случайно обратил внимание на забавную похожесть царевича и нищего, а потом подал мысль царице и другим заговорщикам воспользоваться этим обстоятельством. Если же заговор по сокрытию Дмитрия подготавливался Нагими заранее, то двойник царевича мог быть подыскан ими более тщательно. Во всяком случае, я нисколько не сомневаюсь, что подменный ребенок не был найден уже мертвым среди случайных жертв городской резни, а был убит Нагими.

Предположение о подмене царевича стоит в прямой связи с вопросом о канонизации Дмитрия. В самом деле, чьи же мощи вот уже почти четыре столетия почиют в Архангельском соборе, привлекая к себе верующих? Могут сказать, что здесь историк вторгается в область компетенции церкви, но это неверно. Моя гипотеза никоим образом не ставит под сомнение ни святость означенных мощей, ни творимые ими чудеса, я лишь пытаюсь уточнить личность святого.

Когда в июне 1606 года мощи новоявленного святого привезли в Москву, в толпе любопытствующих находились три человека – двое иностранцев и один русский, – которые оставили нам описание тела привезенного из Углича мальчика. Голландец Исаак Масса пишет, что оно сохранилось «столь же свежим, как если бы его только что положили в гроб». Немец Конрад Буссов свидетельствует, что не только тело, но и орешки, зажатые в руке мальчика, и его платье, и сам гроб, в котором он лежал, – все это сохранилось нетленным и выглядело, как новое. Наконец дьяк Иван Тимофеев добавляет к этому новую подробность: платье царевича и орешки в его руке были запачканы свежей кровью. Масса и Буссов – оба протестанты – отнеслись к канонизации крайне скептически. По их сообщениям, Шуйский прекрасно знал, что тело настоящего Дмитрия давно истлело в земле, поэтому его останки были тайно выброшены из могилы, а вместо них в гроб, отправляемый в Москву, был положен другой ребенок, некий попович, специально для этого убитый. При всем уважении к чувствам верующих, невероятная даже для святого сохранность тела канонизированного ребенка, – не говоря уже об орешках, платье и гробе, – заставляет меня сделать вывод о вторичной подмене тела царевича в 1606 году. (Еще раз повторю, что данное предположение не отвергает ни мученической кончины святого, ни сотворенных им чудес.) Если дело действительно обстояло именно так, как о нем повествуют Масса и Буссов, то нам уже никогда не узнать, кем

был подменен Дмитрий в Угличе в 1591 году.

VI. Лжедмитрий или Дмитрий?

Полагаю, читатель уже мог убедиться в том, что смерть Дмитрия не удостоверена не одним сколько-нибудь авторитетным официальным документом или каким-нибудь другим письменным свидетельством. И напротив, предположение о сокрытии царевича во многом позволяет прояснить невероятную путаницу в официальных известиях о происшествии в Угличе.

Дмитрий мог остаться в живых после ранения и тайно покинуть Углич – я даже считаю такой исход дела наиболее вероятным. Поэтому мои дальнейшие рассуждения будут исходить именно из этой гипотезы. Выше я уже попытался нарисовать примерную картину событий 15 мая. Теперь попробуем сопоставить ее с теми сведениями, которые сообщил о себе польский Дмитрий князю Адаму Вишневецкому.

Допустим на минуту, что рассказ, содержащийся в известном нам письме, принадлежит настоящему царевичу и проанализируем его, исходя из этого предположения. Прежде всего легко устраняется возражение сторонников мнения о самозванстве польского Дмитрия, что настоящий царевич не стал бы столь уничижительным образом отзываться о своем отце – Иване Грозном (напомню, что он назван в письме тираном, прелюбодеем и сыноубийцей). По моему мнению, такое отношение Дмитрия к отцу выглядит как раз очень правдоподобным. Образ отца, несомненно, сформировался

у мальчика в Угличе, под влиянием рассказов матери и деда, Федора Нагого, настрадавшихся от самодурства и жестокости грозного царя. Мария, конечно, не могла простить мужу ни оргий в Александровской слободе, ни английского сватовства, а Федор Нагой – издевательских прижиганий. Собственных воспоминаний об отце у Дмитрия не было, а то что он мог услышать о нем впоследствии от посторонних людей, вряд ли сильно отличалось от слов матери и деда. Вообще затаенная обида на отца – обычное явление среди детей, воспитанных брошенными матерями, к числу которых можно смело отнести и Марию Нагую, несмотря на то, что она не получила официального развода.

Столь же легко объясняется и созданный в рассказе Дмитрия образ Бориса – жестокого и властолюбивого преступника. Свою роль здесь сыграли опять же детские впечатления (вспомним эпизод со снеговиками), но прежде всего очернительство Годунова было вызвано самоочевидными политическими мотивами.

Сложнее обстоит дело с версией о спасении от убийц. Все в этом рассказе находится в противоречии с тем, что было ранее признано нами наиболее достоверной картиной случившегося. Но, может быть, у Дмитрия имелись веские причины исказить истину? Да и знал ли он ее вообще, – по крайней мере в полном объеме?

Остановимся на наиболее сомнительных местах его рассказа.

Сообщение об отравление верных слуг тонко действующим ядом имеет документальное подтверждение. В одном месте своих записок Д. Горсей упоминает о заговоре «с целью отравить и убрать молодого царевича, третьего сына прежнего царя, Дмитрия, его мать и всех их родственников, приверженцев и друзей, содержавшихся под строгим присмотром в отдаленном городе Угличе». Скорее всего, это не более чем слух, но очень вероятно, что он пошел гулять по свету из угличского дворца. В этом случае в памяти Дмитрия он вполне мог сохраниться, как реальное происшествие.

Сама версия о подосланных Годуновым убийцах принадлежит, как мы знаем, Нагим, и, естественно, что Дмитрий использовал ее в своих целях. Но почему он почти до неузнаваемости изменил ее? Попытаемся представить прежде всего, что могло остаться от угличского происшествия в его памяти. Он идет на задний двор играть в тычку с ребятами. Дальше – припадок, провал, мрак. Затем он приходит в себя в какой-то темной комнате. Нагие должны были спрятать его в нежилом помещении, – может быть, в чулане или на чердаке. Известно, что после припадков Дмитрий бывал очень слаб; забытье и общая расслабленность в сочетании с окружающей его темнотой могли привести к потере ощущения им времени суток, поэтому в его рассказе события происходят ночью. С наступлением темноты его переодевают, кладут в телегу, укрывают рогожей и везут за город, объясняя по пути, что его жизни угрожает опасность и что ему необ-

ходимо на время расстаться с матерью и спрятаться в надежном месте. Вот собственно и все, что он мог запомнить из событий этого дня.

Конечно, впоследствии он расспрашивал того человека, который остался с ним, о причинах их бегства. Но что тот мог ответить малолетнему ребенку – что его мать и дяди устроили резню в городе, а потом для своего спасения убили другого мальчика, выдав его за него, за Дмитрия? Он придумал какую-то историю, на первых порах удовлетворившую любопытство юного царевича. Если верно то, что этот человек скоро умер, то у Дмитрия в дальнейшем просто не было возможности уточнить детали, а время стерло из его памяти и то немногое, что в ней оставалось от тех событий. Трудно и даже почти невозможно отделить собственные воспоминания о событии, относящемся к восьмилетнему возрасту, от часто повторяющихся рассказов о нем взрослых. Из этих-то обрывков воспоминаний и услышанных в детстве рассказов и родилась та версия, который Дмитрий изложил Вишневецкому в Брагине. Возможно, сюда примешалось также желание скрыть свои припадки (претенденту на престол незачем слыть припадочным, т. е., по понятиям того времени, бесноватым) и – в случае, если Дмитрий все-таки догадывался об истине – стремление выгородить свою мать и родственников.

Много вопросов возбуждает и сам загадочный воспитатель Дмитрия. Кто это был и существовал ли он вообще? Мне кажется, что на вторую часть вопроса мы можем от-

ветить утвердительно. По старорусскому обычаю царевичей начинали учить с пяти лет. О Дмитрии известно, что в Угличе он обучался началам катехизиса и грамматике. В то время для преподавания этих предметов обычно приглашали учителя, к которому предъявляли требования, чтобы он был человеком кротким, смиренным, трезвым, сведущим в Божественном Писании и искусным в грамоте и письме. Нас не должно смущать, что воспитатель царевича не упоминается в материалах следственной комиссии, – ведь не упоминается же в ней Афанасий Нагой! Между тем по эпизоду в Ярославле, можно заключить, что Дмитрия должны были сопровождать по крайней мере два человека: пока Афанасий Нагой пробирался на двор Горсея, кто-то же должен был присматривать за раненым ребенком. Этим вторым сопровождающим вполне мог быть учитель Дмитрия. Подобная привязанность педагога к своему воспитаннику вряд ли кому-то может показаться чрезмерной или совсем невозможной.

Таким образом, кое-что в рассказе Дмитрия о себе поддается разумному объяснению. Всего в нем, конечно, объяснить теперь уже нельзя, но мне важно показать, что он родился не на пустом месте и не является ни на чем не основанном фантазерством. По правде сказать, меня трудно убедить в том, что в Брагине какой-то проходимец нес о себе заведомую чушь, а князь Вишневецкий, образованный человек, «гоноровый» пан и владелец полусамостоятельного государства, не только выступил в роли его благодарного слушателя,

но и добровольно принял по отношению к нему почти что подчиненное положение.

Перейдем к следующему аргументу сторонников мнения о самозванстве Дмитрия: он не назвал имен своих спасителей и покровителей. На это можно ответить, что во-первых, в то время Дмитрий мог опасаться репрессий Годунова против этих лиц; а во-вторых, что впоследствии он все же указал на дьяков Щелкаловых. Из них двоих для нас особенно интересен старший брат, Андрей Яковлевич. Этот могущественный и всезнающий дьяк посольского приказа в 1593 или 1594 году был отстранен Борисом от дел и умер через четыре—пять лет после опалы. В рассказе Дмитрия упоминается некое второе лицо, которому воспитатель перед смертью открыл тайну царевича. Этот человек, по словам Дмитрия, тоже вскоре умер, дав ему совет постричься в монахи. Вполне можно допустить, что Андрей Щелкалов и был этим человеком. У него были мотивы ненавидеть Годунова и помогать Дмитрию, и, несмотря на опалу, скорее всего были и средства оберегать последнего. А если вспомнить, что в 1598 году Борис стал царем, то предсмертный совет Дмитрию скрыться в монастыре выглядит очень благоразумным. Кстати, в этот году Дмитрий достиг 16 лет – возраста, необходимого для пострижения.

Среди других покровителей царевича современники, – а по некоторым сведениям и сам Дмитрий, – называли Богдана Бельского. Его кандидатура более чем вероятна. Именно он

после смерти Грозного заявил о правах Дмитрия на престол. В 1591 году он был воеводой в Нижнем Новгороде. Появление Афанасия Нагого в Ярославле показывает, что царевича везли из Углича если не в сам Нижний, то по крайней мере в том направлении.

Что касается странствий Дмитрия по русским монастырям, то никто из историков не отрицал этого факта. Все современники, беседовавшие с ним в Польше или позже, в России, говорят о том, что он обнаруживал близкое знакомство с монашеской жизнью, о которой, кажется, сохранил далеко не лучшие воспоминания. Дмитрий с искренним негодованием говорил о нарушениях братией монастырского устава, о почти повсеместном пьянстве и распущенности монахов. Впрочем в подробности он не входил, и мы не можем сказать, примешивалась ли к этим обвинениям какая—нибудь личная обида.

Но в общем жизнь Дмитрия в промежутке между его исчезновением из Углича и объявлением в Польше можно с полным правом назвать темными годами. Где он жил, за кого себя выдавал, какое имя носил, – обо всем этом можно только догадываться. Правда, кое-какие смутные указания существуют и на этот счет.

Вероятнее всего Афанасий Нагой недолго оставался с племянником – он был слишком известным человеком и мог быть узнан. Можно предположить, что где-то в районе Ярославля он расстался с Дмитрием и продолжил с казаками

путь вниз по Волге. Юг России был ему хорошо известен, поскольку при Иване Грозном он много лет был царевым послом в Крыму. Его пребывание среди казаков – на Дону или в Сечи – с большой долей достоверности объясняет решительную поддержку, впоследствии оказанную ими Дмитрию.

Убежищем Дмитрия, очевидно, стали северные монастыри. Имеются косвенные подтверждения этого предположения. После своего воцарения Дмитрий выдал множество дарственных грамот северным монастырям, и это можно рассматривать, как стремление отблагодарить их за какую-то услугу, оказанную ими в прошлом. Этой услугой могло быть только укрывательство от властей. Монастыри на Руси издавна выполняли роль своеобразного оппозиционного подполья; кстати, если верить официальной биографии Григория Отрепьева, он также скрылся от преследований Годунова в монастыре. Еще более интересна запись, сделанная в синодике Макарьевского монастыря, где среди членов царствующего дома находится имя какого-то инока Леонида; между тем известно, что ни один мужчина из династии Калиты не постригался под таким именем.

В противоречии с предположением о пребывании Дмитрия на Севере находится сокровенное повествование литовских социниан, относящее к первой половине XVII столетия. Согласно ему, царевич жил и воспитывался в их среде. Эта легенда называет даже имя воспитателя Дмитрия – Матвея Твердохлеба, якобы ставшего впоследствии его первым со-

ветником. Твердохлеб – реальное историческое лицо, о котором известно, что он был в Москве в 1606 году и уехал оттуда назад в Польшу незадолго до убийства Дмитрия восставшими москвичами.

Достоверность этой легенды основана, разумеется, лишь на поговорке, что не бывает дыма без огня. Вспомним, что Дмитрий скорее всего действительно тесно общался с социнианами в Гоще. Кроме того, в одном из своих манифестов он утверждал, что тайно приезжал в Москву из Литвы в составе посольства Льва Сапеги и бродил по московским улицам, обливаясь слезами при мысли, что в его столице царствует злодей Борис. Говорил ли он правду? Я думаю – да, поскольку это заявление совершенно нейтрально: оно ничего не прибавляет к свидетельствам о подлинности Дмитрия и, следовательно, как ложь, совершенно ему бесполезно. Тогда мы можем уточнить сразу несколько обстоятельств. Из слов Дмитрия следует, что его выход в Польшу состоялся не ранее 1598 года, когда он по всей вероятности постригся в монахи и не позже 1600, когда посольство Сапеги приехало в Москву. В это время ему было 16—17 лет, и у него действительно мог появиться наставник из социниан. Затем, его приезд с посольством Сапеги в Москву совпадает по времени с началом репрессий Годунова. Это заставляет предположить, что, возможно Дмитрий уже тогда попытался каким-то образом дать знать о себе. В новом свете предстает и фигура литовского канцлера, если связать пребывание Дмитрия в

посольстве с дальнейшим выяснением его личности в Польше – как мы знаем, одно из главных свидетельств в пользу подлинности Дмитрия исходило от Петровского, слуги Сапеги. Наконец, появление Дмитрия в Киеве в 1601 году совпадает с временем отъезда польского посольства из Москвы.

1600—1601 годы вообще очень важны для нас – слишком много обстоятельств и судеб перекрещиваются на этом отрезке времени. Но чтобы понять смысл и значение этих двух лет в истории Смуты, мы должны ближе познакомиться еще с одним героем нашего повествования – Григорием Отрепьевым.

***

Непоколебимая уверенность, с какой *все* историки советского времени отождествили Отрепьева с так называемым Лжедмитрием, является для меня загадкой. У российских дореволюционных историков подобной уверенности не было, а многие из них были убеждены совсем в обратном, однако открыто высказать свое мнение им мешала цензура.

Весьма характерна позиция, занятая в этом вопросе историком XVIII века Г.Миллером. В своих печатных трудах он придерживался официальной версии о личности Лжедмитрия, но это не было его истинным убеждением. Автор «Путевых записок» англичанин Уильям Кокс, посетивший Миллера в Москве, передает следующие его слова:

– Я не могу высказать печатно мое настоящее мнение в России, так как тут замешана религия. Если вы прочтете

внимательно мою статью, то вероятно заметите, что приведенные мною доводы в пользу обмана слабы и неубедительны.

Сказав это, он добавил, улыбаясь:

– Когда вы будете писать об этом, то опровергайте меня смело, но не упоминайте о моей исповеди, пока я жив.

В пояснение сказанного Миллер передал Коксу свой разговор с Екатериной II, состоявшийся в один из ее приездов в Москву. Императрица, видимо уставшая от новоявленных Петров III и княжон Таракановых, интересовалась феноменом самозванства и, в частности, спросила Миллера:

– Я слышала, вы сомневаетесь в том, что Гришка был обманщик. Скажите мне смело ваше мнение.

Миллер поначалу почтительно уклонился от прямого ответа, но, уступив настоятельным просьбам, сказал:

– Вашему величеству хорошо известно, что тело истинного Дмитрия покоится в Михайловском соборе; ему поклоняются и его мощи творят чудеса. Что станется с мощами, если будет доказано, что Гришка – настоящий Дмитрий?

– Вы правы, – улыбнулась Екатерина, – но я желаю знать, каково было бы ваше мнение, если бы вовсе не существовало мощей.

Однако большего ей добиться от Миллера не удалось.

В общем Миллера можно понять. Что стало бы с ним, заезжим лютеранином, посмей он посягнуть – пускай и во имя научной истины, пускай и в царстве просвещенной Фелицы

– на чужие святыни!

В XIX веке историки выказали больше смелости. Большинство наиболее видных представителей исторической науки – Н.И. Костомаров, С.Ф. Платонов, Н.М. Павлов, С.М. Соловьев, К.Н. Бестужев-Рюмин, С.Д. Шереметев, В.О. Ключевский – прямо или косвенно отвергли легенду о царствовании Гришки. Окинем вместе с читателем беглым взглядом их аргументы.

Прежде всего поражает скудость документальных сведений, подтверждающих официальную биографию Отрепьева. Многочисленные рассказы о нем, содержащиеся в летописях и современных сказаниях, так или иначе сводятся к двум источникам: окружной грамоте патриарха Иова, с которой 14 января 1605 года он обратился к духовенству всей земли и которая является первой обнародованной биографией Отрепьева, и так называемому «Извету» или «Челобитью Варлаама», изданному правительством Василия Шуйского.

Как же складывалась жизнь Григория Отрепьева согласно этим документам?

В грамоте патриарха говорится, что в миру его звали Юшка Богданов сын Отрепьев. (Он принадлежал к той ветви рода Нелидовых, родоначальник которой, Данила Борисович, получил в 1497 году прозвище Отрепьева, закрепившееся за его потомками.) В детстве он был отдан отцом, стрелецким сотником, в услужение Михаилу Романову, то есть попал в категорию так называемых детей боярских – сыновей не

очень родовитых и богатых бояр, составлявших челядь более знатных вельмож. Юноша отличался тяжелым характером и распущенностью. После того, как хозяин прогнал его за дурное поведение, отец взял сына к себе. Но Григорий и здесь не оставил своих привычек. Он несколько раз пытался убежать из дома и в конце концов оказался замешан в каком-то тяжелом преступлении, за которое ему грозило суровое наказание. Чтобы избежать возмездия, он решил постричься в монахи в монастыре Иоанна Предтечи, что на Железном Борку в Ярославской области. Затем он перебрался в Москву – в Чудов монастырь, где показал себя искусным переписчиком, благодаря чему через два года сам патриарх Иов, посвятив его в диаконы, взял к себе на двор, для книжного письма. Однако вскоре он был уличен в распутстве, пьянстве и воровстве (в старорусском значении этого слова, то есть в государственном преступлении) и в 1593 году бежал из Москвы со своими товарищами, Варлаамом Яцким и Мисаилом Повадиным. Некоторое время он проживал в Киеве в монастырях Никольском и Печерском во дьяконском чине, потом скинул монашеское платье, уклонился в латинскую ересь, в чернокнижие, ведовство и, по наущению короля Сигизмунда и литовских панов, стал называться царевичем Дмитрием. Свидетелями его бегства оказались многие люди, которые дали знать о том патриарху. Первый свидетель, монах Пимен, постриженник Троице-Сергиева монастыря, сказал, что спознался с Гришкой и его товарищами Варлаамом и

Мисаилом в Новгороде-Северском в Спасском монастыре и проводил их в Литву за Стародуб. Второй, чернец Венедикт, показал, что, убежав из Смоленска в Литву, жил в Киеве и там познакомился с Гришкой, проживал с ним в разных монастырях и был с ним у князя Острожского. Гришка потом ушел к запорожцам. Венедикт известил о том печерского игумена, и тот послал к казакам монахов для поимки вора, но Гришка убежал от них к князю Адаму Вишневецкому. Третий, посадский человек Степен Иконник, рассказал, что, торгуя иконами в Киеве, видел Гришку в своей лавке, когда тот, будучи еще в дьяконском чине, приходил к нему покупать иконы.

Система доказательств, призванная уличить Отрепьева (а точнее, брагинского Дмитрия) в самозванстве, не очень убедительна. Свидетельские показания Пимена, Венедикта и Степана мало чего стоят: можно поверить, что они опознали Отрепьева на его пути из Москвы в Киев, но ведь они не были в Брагине и не видели Дмитрия! Как же они берутся утверждать тождество этих двух лиц? Кроме того, сам патриарх, указывая социальное положение этих людей, называет их «бродягами и ворами». Не правда ли, прекрасная характеристика для свидетелей! И после этого нам предлагают довериться их показаниям!

Далее, обратим внимание на приводимую дату бегства Григория в Литву – 1593 год. Если даже предположить, что все безобразия, которые он успел натворить в Москве, мо-

гут уложиться в первые 20 лет жизни не теряющего времени подонка, то в 1603 году, в Брагине, Отрепьев должен был предстать перед Вишневецким зрелым 30-летним мужем. Но все очевидцы, видевшие Дмитрия не только в Брагине, но и спустя два года в Москве, единодушно свидетельствуют, что это был юноша не старше 22—25 лет. При этом, насколько можно судить, во внешнем облике и умственных и нравственных качествах Дмитрия не было ничего от истаскавшегося пьяницы с монастырским образованием. Рангони в 1604 году описывает его так: «Хорошо сложенный молодой человек, со смуглым цветом лица, с большой бородавкой на носу в уровень с правым глазом; его *белые длинные кисти рук* (здесь и далее курсив мой. – *С. Ц.*) обнаруживают *благородство его происхождения*. Говорит он очень смело; его походка и манеры, действительно носят какой-то *величественный характер*». В другом место он пишет: «Дмитрию на вид около *двадцати четырех лет*, он без бороды, одарен живым умом, весьма красноречив, *безупречно соблюдает внешние приличия*, склонен к изучению словесных наук, *чрезвычайно скромен и сдержан*». Маржерет считал, что манера Дмитрия держать себя доказывала, что он мог быть только сыном венценосца. «Его красноречие восхищало русских, – пишет он, – в нем блистало какое-то *неизъяснимое величие, дотоле неизвестное русским* и тем менее простому народу» (Маржерет, лично знакомый с Генрихом IV, разбирался в манерах королей). Еще один очевидец, Буссов, говорит, что руки и

ноги Дмитрия выдавали его аристократическое происхождение, то есть были изящными и не ширококостными.

Кто решится отнести эти описания к человеку, о котором идет речь в грамоте патриарха? Отрепьевы никогда не принадлежали к аристократическим фамилиям и непонятно, в каких монастырях и кабаках Григорий мог набраться благородных манер. Мне возразят, что он, видимо, все же некоторое время посещал вместе с патриархом царский дворец, но если Отрепьев и подучился там учтивости, то вряд ли можно допустить, что патриаршему переписчику позволили там выработать *величественные* манеры. Если эти доказательства все еще не кажутся убедительными, то вот другие. Дмитрий был чрезвычайно воинствен, не раз доказал свое умение владеть саблей и укрощать самых горячих лошадей; он говорил по-польски, знал (впрочем, нетвердо) латынь и производил впечатление почти европейски образованного человека. Объяснить, откуда могли взяться все эти качества у Отрепьева, невозможно.

Интересно, что Пушкин, следуя в «Борисе Годунове» официальной версии о Самозванце, чутьем поэта гениально уловил его несхожесть с Отрепьевым. Фактически в трагедии Самозванец состоит как бы из двух человек: Гришки и Дмитрия. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить сцену в корчме на литовской границе со сценами в Самборе: другой язык, другой характер!

По всей видимости, вопрос о том, был ли Дмитрий на са-

мом деле Григорием Отрепьевым, не очень занимал Годунова. Ему важно было лишь доказать, что самозванец является русским, с тем, чтобы на этом основании требовать его выдачи. Поэтому Борис объявил его Григорием Отрепьевым – первым попавшимся мерзавцем, который мало-мальски подходил на эту роль. Еще не зная, что появившийся в Брагине претендент на престол едва вышел из 20-летнего возраста, Годунов и Иов отнесли его выход в Литву к 1593 году, между тем как более достоверной датой, как увидит читатель, следует считать 1601 или 1602 год. Впрочем, я имел случай показать, что московское правительство нетвердо помнило даже дату угличского происшествия и в своих грамотах польским властям отодвигало его на несколько лет назад.

В 1605 году Годунов почти признался в своей ошибке. Его посол Постник-Огарев, прибывший в январе этого года к Сигизмунду с письмом, в котором Дмитрий все еще назывался Отрепьевым, в сейме вдруг заговорил не о Гришке, а совсем о другом человеке – сыне не то какого-то крестьянина, не то сапожника. По его словам, этот человек, носивший в России имя Дмитрий Реорович (возможно, это искаженное в польском тексте отчество Григорьевич), и называет теперь себя царевичем Дмитрием. Помимо этого неожиданного заявления, Огарев удивил сенаторов другим замечанием: мол, если самозванец и *в самом деле является сыном царя Ивана*, то его рождение в незаконном браке все равно лишает его права на престол. (Сторонники Дмитрия отвечали на

это: брак законный, мать царевича была венчана.) Этот довод, повторенный тогда же в письме Бориса к императору Рудольфу, отлично показывает цену, которую имела в глазах Бориса версия о тождестве Отрепьева с Дмитрием.

Вообще надо сказать, что в 1605 году, несмотря на авторитет патриарха, эта версия не получила широкого распространения: ей мало верили. После обнародования грамоты с биографией Отрепьева окружение Дмитрия в Польше даже как-то оживилось, словно противник допустил важный промах. В России, где имя Отрепьева было предано анафеме, народ, по сведениям властей, говорил: «Пусть себе проклинают расстригу – царевичу до Гришки дела нет!»

Но в царствование Василия Шуйского полузабытое имя Григория Отрепьева было вновь – и теперь уже на долгие годы – связано с именем Дмитрия. Летом 1606 года, спустя месяц-другой после смерти Дмитрия, Шуйский опубликовал «Извет», якобы принадлежавший перу монаха Варлаама Яцкого, случайного спутника Отрепьева в его странствиях. Это сочинение изобиловало новыми подробностями (и новыми погрешностями) из жизни расстриги и в то же время во многом противоречило грамоте Иова. Так, согласно этому повествованию, в феврале 1602 года Гришка бежал из Москвы; за год перед этим (в 14-летнем возрасте) он принял монашество. Но затем выясняется, что *между этими двумя датами*, он успел *два года* прожить в московском Чудовом монастыре и *более года* прослужить у патриарха. Вот что значит спеш-

ка в писательском ремесле! Эти огрехи вызваны, конечно, стремлением «омолодить» Отрепьева, исправив тем самым ошибку патриаршей грамоты, но попутно сочинитель «Извета» входит в противоречие с Иовом, ничего не говоря о службе Отрепьева на дворе у Романова и торопясь надеть на него схиму. Дальнейший рассказ не менее занимателен. Автор сообщает, что бежать из Москвы Григория вынудил донос на него патриарху о том, что он выдает себя за царевича Дмитрия. (Иов в своей грамоте ни словом не упоминает об этом важном обстоятельстве.) При этом остается неизвестным, кого Отрепьев старался уверить в своем царском происхождении; равным образом не поясняется, каким образом в его голову пришла столь безумная для москвича XVI столетия мысль. И еще одна странность: несмотря на царский приказ схватить еретика, один дьяк помогает ему скрыться; что заставило его рисковать своей головой ради самозванца, не поясняется.

Затем на сцену выступает автор повествования. В феврале 1606 года, в Москве, на Варварском крестце, он встречает некоего монаха. Это не кто иной, как Григорий Отрепьев, который, замечу, оказывается спокойно разгуливает среди бела дня по Москве, несмотря на тяготеющее над ним обвинение в государственном преступлении. Он зовет Варлаама совершить паломничество… в Иерусалим, и легкий на подъем Варлаам, впервые видящий перед собой этого человека, с радостью соглашается, хотя минуту назад он и в мыслях

не имел совершить подобное путешествие! Они договариваются встретиться на следующий день, и назавтра в условленном месте встречают еще одного монаха, Мисаила, в миру Михаила Повадина, которого Варлаам видел прежде на дворе у князя Шуйского (здесь неосторожно выдается некоторая близость автора к тому лицу, которому адресуется вся басня). Мисаил ничтоже сумняшеся присоединяется к ним. Втроем они достигают Киева, где три недели живут в Печерском монастыре (печерский архимандрит Елисей, с которым автор забыл сговориться, впоследствии будет утверждать, что монахов было четверо), а затем через Острог добираются до Дерманского монастыря. Но здесь Григорий бежит от своих спутников в Гощу, откуда, сбросив монашескую рясу, бесследно исчезает следующей весной. После такого предательства Варлаам забывает о благочестивой цели своего паломничества и озабочен лишь тем, как вернуть беглеца в Россию. Он жалуется на него князю Острожскому и даже самому королю Сигизмунду, но слышит в ответ, что Польша свободная страна и в ней каждый волен идти, куда ему угодно. Тогда Варлаам храбро бросается в самое пекло – в Самбор, к Мнишекам, чтобы обличить самозванца. Но там его хватают и вместе с другим русским, боярским сыном Яковом Пыхачевым, преследующим ту же цель, обвиняют в злоумышлении на жизнь Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Пыхачева казнят, а для Варлаама почему-то делают исключение и кидают в темницу. Впрочем вскоре происходит

нечто еще более невероятное: Марина Мнишек выпускает его, – одного из главных обвинителей ее жениха в самозванстве! (Варлаам не замечает, что эта история, даже если она не выдумана, свидетельствует как раз о том, что в Самборе не видели никакой опасности в отождествлении Отрепьева с Дмитрием, будучи совершенно убеждены, что это два разных лица.) После воцарения самозванца обличительный пыл Варлаама почему-то пропадает и только воцарение Василия Шуйского вновь развязывает ему язык.

Таково вкратце содержание этого романа, за достоверность которого до сих пор готовы поручиться многие историки. Например, Скрынников, один из крупнейших советских специалистов по истории Смуты, настолько заворожен совпадением маршрута путешествия Отрепьева в Литву с пунктами, названными самим Дмитрием (Острог – Гоща – Брагин), что во всех своих работах приводит этот факт в числе одного из двух (!) «неопровержимых» доказательств того, что царевичем в Польше называл себя Гришка (не приводя впрочем ни одного доказательства того, что спутник Отрепьева, Варлаам Яцкий, и автор «Извета» являются одним и тем же лицом). Но признать данное доказательство «неопровержимым» можно лишь в том случае, если предположить вслед за уважаемым историком, что Варлаам (или кто бы он ни был), писавший свое сочинение в 1606 году, не знал рассказов Дмитрия о своих странствиях, которые уже два года назад были известны любому мальчишке от Кракова до

Москвы.

Равным образом ничего определенного не говорит в пользу кандидатуры Отрепьева на роль Дмитрия и любопытная находка, сделанная на Волыни, в Загоровской монастырской библиотеке – другое «неопровержимое» доказательство Скрынникова. Надпись на одной из книг, хранящихся там, гласит: «Пожалована князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Мисаилу»; рядом с именем Григория сделана приписка другой рукой: «Царевичу Московскому». Почерки, которыми сделаны надпись и приписка, не принадлежат никому из известных исторических лиц того времени. И пока нам не объяснят, кто, когда и зачем вывел эти строки, считать их доказательством чего бы то ни было вряд ли будет правильным. Но допустим, что сама надпись полностью достоверна (этого, разумеется, нельзя сказать о приписке, которая свидетельствует лишь о том, что ее автор читал или слышал манифесты Шуйского о Гришке). Тогда она, подтверждая некоторые места «Извета», опровергает его главную мысль – тождество Отрепьева с Дмитрием. Ведь, как мы помним, князь Острожский отрицал свое знакомство с претендентом. Почему? Потому что брагинский царевич, видимо, совсем не походил на одного из монахов, которым князь подарил книгу.

Дмитрий не был Григорием Отрепьевым. А вывод, следующий из этого утверждения, которое действительно представляется мне неопровержимым, сделал уже в прошлом ве-

ке историк Бестужев-Рюмин: если Дмитрий не был Отрепьевым, то он мог быть только настоящим царевичем.

***

И все-таки, почему ни у Годунова, ни у Шуйского не нашлось другого кандидата на роль самозваного царевича? Не значит ли это, что Отрепьев все же был каким-то образом замешан в это дело? Ведь судя по всему он был довольно известной личностью в Москве, его знали в Чудове монастыре, на дворе у патриарха и, возможно, во дворце, следовательно, возводить на него напраслину нужно было чрезвычайно осторожно, чтобы не быть в свою очередь самому уличенным во лжи.

Существует один документ, проливающий свет на действительную роль Отрепьева в деле о самозванстве. 22 марта 1605 года, то есть в то время, когда Дмитрий уже шел на Москву, старцы Сийского монастыря, Иринарх и Леванид, донесли Годунову о странном поведении старца Филарета, в миру Федора Никитича Романова, как мы помним, насильно постриженного Борисом лет пять назад. Старцы писали, что в ночь на 3 февраля Филарет на Иринарха лаял, да с посохом к нему прискакивал, и из кельи выгнал, и за собой ходить не велел. И живет-де он не по монастырскому чину, всегда *смеется неведомо чему*, и говорит про мирское житье, про ловчих птиц и собак, да как он в миру жил, на старцев же лает и бить их хочет, и говорит им: «Увидите, *каков я впредь буду*!»

Что это значит? С чего Филарет так воспрянул духом и помышляет о прежней мирской жизни, похваляясь стать даже более влиятельным, чем раньше? Его поведение и слова ясно говорят о том, что он надеется изменить свое положение после победы Дмитрия над Годуновым. Так выходит, они были как-то связаны?

А теперь вспомним сообщение патриарха Иова о службе Отрепьева у Михаила Романова, брата Филарета. Вспомним также внезапный разгром Борисом семейства Романовых по вздорному обвинению в намерении отравить его. Вспомним, наконец, летописное известие о том, что при первом известии о появлении Дмитрия в Польше, Годунов бросил в лицо боярам, что самозванец – их рук дело. Не следует ли из всего этого заключить, что мысль о самозванце была высижена в боярском кружке, группировавшемся вокруг Романовых и что Отрепьева действительно прочили на эту роль, – конечно, только затем, чтобы скинуть Годунова, не более. Обратим внимание на необъяснимый взлет его карьеры: бездельник, распутник и пьяница, лишившийся теплого места на боярском дворе, совершивший к тому же какое-то тяжелое преступление, вдруг после пострижения в монахи стремительно идет в гору и попадает в число доверенных людей самого патриарха. Создается впечатление, что его судьбой руководила чья-то невидимая рука. Может быть, именно Романовы, удалив его от себя, чтобы не афишировать свою связь с ним, устроили его затем на патриарший двор? Зачем

это было сделано, догадаться нетрудно. Григорий служил у Иова переписчиком, то есть имел доступ к важным бумагам. Для той роли, которая ему предназначалась, он должен был ознакомиться в архивах с материалами угличского дела, и должность патриаршего секретаря обеспечивала доступ к этим документам. Одновременно заговорщики вступили в переговоры с Сапегой, прощупывая вопрос о польской подмоге. (Впоследствии Сапега называл Дмитрия обманщиком – не потому ли, что ему показывали в Москве Отрепьева?) Но Романовы и их сообщники – князья Черкасские и другие, из числа которых нельзя исключать Шуйского, – не успели использовать свое тайное орудие, Борис опередил их. Спустя некоторое время Григорий бежал в Польшу. И вот, слыша о появлении победоносного царевича, что должен был подумать Филарет? Он решил, что мина, заложенная им под Борисов трон, взорвалась!

Годунов знал или догадывался о заговоре Романовых. Однако более менее достоверные известия о брагинском царевиче смутили его, чем и объясняются его колебания в определении личности претендента. Бояре ждали появления в Москве Гришки, но к их изумлению в столицу въехал кто-то другой. Когда этот незваный другой был ими убит, Шуйскому не оставалось ничего другого, как провозгласить его тем, кем он должен был быть – Григорием Отрепьевым.

***

Существует еще несколько народных сказаний о проис-

хождении и личности Дмитрия, каждое из которых в свое время имело приверженцев в русской и польской исторической науке.

Согласно одному из них, в конце XVI века, жил в Москве, на попечении у вдовы Варвары Отрепьевой, сирота Леонид, мальчик неизвестного происхождения. Вдова называла его своим сыном, сама учила грамоте, заботилась о нем, как о родном. Но ему почему-то не нравилось жить у вдовы, и однажды он исчез из ее дома. Бродя по Москве, Леонид встретил игумена Трифона, основателя, а затем и архимандрита Успенского монастыря в городе Хлынове (Вятке). Монах уговорил юношу посвятить себя Богу и сам совершил над ним обряд пострижения. Леониду шел тогда 14-й год. Став келейником-служкою в Чудовом монастыре, он пробыл там около года, а затем был взят на двор патриарха Иова переписчиком. Переписывая летописи, он познакомился с угличским делом и обратил внимание на то, что они с царевичем Дмитрием являются сверстниками. Тут-то ему и запала в голову мысль о самозванстве. Леонид начал расспрашивать монахов о царевиче и делал это так настойчиво, что возбудил подозрения у своего духовного начальства. На него донесли самому царю, который распорядился сослать любопытного чернеца в Соловецкий монастырь. Однако Леонида кто-то предупредил о доносе, и он бежал в Киев. Здесь он скинул схиму, некоторое время жил у запорожцев, а потом поступил в услужение к князю Адаму Вишневецкому. Спустя ка-

кое-то время он «открылся» своему господину, который поверил ему и решил помочь деньгами, оружием и войском. С этих пор Леонид исчез, а вместо него появился «царевич Дмитрий».

Заимствуя некоторые факты официальной биографии Отрепьева, это предание пытается избавиться от самого Гришки, в чьем психологическом портрете нет ни одной черточки, роднящей его с Дмитрием. Подобным же образом поступает другая легенда, которая делает Григория Отрепьева лишь воспитателем неизвестного юноши благородного происхождения, объявившим себя по его наущению царевичем.

Оба упомянутые сказания представляют нам Дмитрия *сознательным* самозванцем. Между тем еще Ключевский заметил, что загадка Дмитрия – прежде всего загадка психологическая. «Он (Дмитрий. – *С. Ц.*) держался, – пишет историк, – как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царском происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же». Другими словами Дмитрий не играл роль законного наследника московского престола, а в самом деле ощущал себя таковым.

Это обстоятельство позволило некоторым историкам выдвинуть версию о царском происхождении Дмитрия. Подходящую кандидатуру искали и среди внебрачных отпрысков Ивана Грозного, и среди сыновей Симеона Бекбулатовича.

Однако наибольшей популярностью в прошлом веке пользовалась версия, опиравшаяся на польскую легенду о неполомицком царевиче, согласно которой Дмитрий являлся незаконным сыном Стефана Батория.

Эта легенда говорит, что король Стефан, устав от долгой и бесплодной войны с Москвой, в последние годы жизни облюбовал себе замок в Неполомицах, на берегу Вислы, куда часто приезжал охотиться. Однако короля манила не столько дичь, водившаяся в окрестных лесах, сколько красавица-дочь управляющего замка. Девушка благосклонно приняла королевские ухаживания и вскоре у нее родился мальчик. Католическая церковь в Польше очень строго относилась к супружеским изменам и внебрачным отношениям, поэтому мать скрывала от сына, кто его отец, но часто намекала ему, что в его жилах течет не простая холопская, а царская кровь и что в будущем ему суждено стать знатным человеком. И мальчик рос, проникаясь сознанием, что он сын какого-то могущественного государя…

В декабре 1586 умер Баторий, а спустя некоторое время болезнь унесла в могилу и его красавицу-любовницу. Оставшись сиротой, мальчик ушел из Неполомицкого замка и стал скитаться по дворам знатных панов; впоследствии судьба привела его в Россию, он побывал в самой Москве и долго жил в русских монастырях, так что в конце концов его стало трудно отличить от коренного русака.

Во время этих странствий он узнал об истории царевича

Дмитрия. Один православный монах поведал ему, что на самом деле царевич жив и где-то скрывается, а вместо него в Угличе убит другой мальчик. Слушая эти рассказы, юноша вспомнил все, что говорила ему мать о его царском происхождении, и его поразила внезапная мысль: «Уж не я ли царевич Дмитрий?» Постепенно он так свыкся с этой мыслью, что начал смотреть на себя, как на законного наследника московского престола. В 1601 году он возвратился в Польшу и через два года объявил себя в Брагине царевичем Дмитрием.

Преимущество этой версии перед другими состоит в том, что в ее пользу говорят некоторые документальные свидетельства. Так, супружеские измены Стефана Батория в последние годы его жизни подтверждаются многими современниками, в том числе и русским послам Лукой Новосильцевым, который писал в Москву в 1585 году, что «король с королевой не ласково живут: в прежние года бывал с ней дважды в год, а ныне с ней не живет». А швед Петр Петрей де Ерлезунд, очевидец Смуты и автор интересных записок о Московии, передает следующее: «Знаменитый польский вельможа Ян Сапега говорил, что мнимый Дмитрий был побочный сын Стефана Батория; что посему-то поляки словом и делом, войском и казной помогли ему завоевать Москву».

Польский историк профессор Вержбовский выдвинул оригинальную систему доказательства тождества Дмитрия с внебрачным сыном Стефана Батория, опорной точкой кото-

рой служат бородавки на лице московского царя (правда, их количество на современных портретах Дмитрия колеблется от одной до трех: на носу, около правого глаза и на лбу около левого глаза). Вержбовский обратил внимание на то, что на портретах и медалях с изображением польского короля у Батория также ясно видна бородавка над правым глазом. Опираясь на медицинские исследования, подтверждающие, что некоторые наследственные признаки могут передаваться в семьях на протяжении нескольких поколений, польский ученый сделал вывод о достоверности легенды о неполомицком царевиче.

Другой польский историк, Александр Гиршберг, пришел к тому же заключению на основании исследования характеров Батория и Дмитрия. Такие общие их черты, как страсть к смелым и рискованным предприятиям, необыкновенная энергия, вспыльчивость, любовь к наукам, военному делу и охоте, по мнению Гиршберга, объясняются наследственной преемственностью.

К сожалению, доказательства обоих польских ученых не отличаются особой убедительностью. Ведь, как помнит читатель, слуга Сапеги Петровский, ссылаясь на ту же бородавку, доказывал, что Дмитрий является настоящим сыном Грозного; что же касается наследственных черт характера, то, используя тот же метод, можно с успехом сделать Дмитрия потомком Александра Македонского.

Сегодня, как и сто лет назад, в исторической науке суще-

ствуют сторонники легенды о неполомицком царевиче; ведутся также поиски других «отцов» Дмитрия. Я верю, что перебрав все возможные кандидатуры и убедившись в их несостоятельности, историки в конце концов признают родителями Дмитрия Ивана Грозного и Марию Нагую.

А теперь, после всего сказанного, вернемся к Дмитрию в Брагин и проследуем вместе с ним дальше по лабиринту его необыкновенной судьбы.

VII. Политика, любовь и вера

Произошедшая в Брагине перемена в положении Дмитрия была поразительна. Из вчерашнего безродного бродяги он превратился в русского царевича, бывшего панского слугу окружала теперь свита из 30 человек, его имя, так долго скрываемое им от людей, звучало во дворцах, храмах и хижинах. Было от чего закружиться юной голове, но Дмитрий ни на минуту не поддался расслабляющему действию успеха, напротив, он с изумительной энергией сразу приступил у выполнению своего плана по организации казацко-татарского похода на Москву. Эта молодецкая затея, от которой так и веяло русскими удельными традициями, вызвала настолько горячий отклик на Украине, буквально кишащей гонцами царевича, что Сигизмунд III поспешил вмешаться и указом от 12 декабря 1603 года запретил казакам создавать вооруженные отряды в поддержку Дмитрия. Вообще поляки отнеслись к планам царевича с нескрываемым скепсисом. Уверенность в своих силах часто принимают за авантюризм.

Князь Адам почему-то медлил предъявить Дмитрия королю, зато не мешал своему почетному гостю разъезжать по округе и завязывать новые знакомства. Это была ошибка со стороны князя. Вскоре Дмитрий сменил покровителя: поддавшись уговорам Константина Вишневецкого, брата князя Адама, он переехал к нему. Надо думать, что на этот шаг его подвигла не просто ветреность. Скорее всего в сознании Дмитрия наметился важный поворот: он понял, что ему не обойтись без польской помощи (или что ему не позволят без нее обойтись). Князь Константин гораздо вернее мог открыть ему доступ в панскую среду: в отличие от брата Константин Вишневецкий был католик, а его жена, Урсула Мнишек, была дочерью польского сенатора. В Заложице, имении князя Константина, Дмитрий впервые увидел Марину, сестру Урсулы.

Затем последовал новый переезд – в Самбор.

В Самборе жила Марина.

Этот город, населенный в основном евреями, стоял над Днестром, среди бескрайних лесов, изобиловавших дичью. Внутри города находился Самборский замок, обнесенный деревянными стенами с башнями и двумя воротами, над которыми возвышались по две фигурные башенки – одна золоченая, а остальные покрытые жестью. Попасть в замок можно было только по двум подъемным мостам, перекинутых через глубокий ров, опоясывавший стены. Внутри замка находились деревянные дворец и костел, сады и многочислен-

ные хозяйственные постройки – гумно, пивоварня, скотный двор и т.д.

Самбор был королевской резиденцией, и внутреннее убранство дворца соответствовало его назначению – бесчисленные комнаты украшали дорогая мебель, позолота, драгоценные ткани, картины в золоченых рамах. Однако Сигизмунд III никогда не жил здесь. Королевские апартаменты занимал сандомирский воевода Юрий Мнишек, чей герб – пук перьев, прибитый над фронтоном главного входа, – сразу бросался в глаза въезжавшим в замок гостям.

Стареющий воевода, – дородный, с бычьей шеей, коротко остриженной бородой и лукавыми голубыми глазами, – по отцу был родом чех. Его родитель, Николай Вандалин, приехал в Польшу из Моравии во время правления Сигизмунда I, женился здесь на дочери воеводы пана Каменецкого и получил видную должность при королевском дворе. Юрий Мнишек еще более приблизился к королевской особе. Он был в большой милости у Сигизмунда II Августа в эпоху «соколов», – как король называл своих любовниц. Сигизмунд II был несчастный человек. После смерти своей любимой жены, Барбары Радзивилл, он, выполняя ее предсмертную волю, женился на австрийской принцессе, с которой, однако, вскоре развелся. Тоска по Барбаре разъедала его душу, и чтобы избавиться от нее, король начал менять женщин, ища в них если не подобие нежно любимой супруги, то по крайней мере отдельных ее черт и качеств. Роль поставщика кан-

дидаток на роль покойной взял на себя Юрий Мнишек. Помимо этого, он потакал суеверию Сигизмунда, добывая для него колдунов, баб-шептух, гадальщиц и знахарок, которые руководили поступками короля, снимали с него заклятия и поддерживали возбуждающими средствами его угасавшую похоть. Жизнь Сигизмунда превратилась в кошмар. Истощение мужских сил приводило его в отчаяние. После каждого нового фиаско Юрий приводил к нему в спальню знахарку, которая кропила тело короля чудесной водицей и советовала оставить прежнюю любовницу, злыми чарами околдовавшую его плоть. Встревоженная фаворитка посылала к Сигизмунду свою бабку, после чего Юрию приводил новую – снимать чары той. Король тихо сходил с ума. В последние годы он несколько успокоился, наконец найдя ту, которая, как ему казалось, могла занять в его душе место умершей жены. Эту девушку даже звали так же – Барбара, по отцу Гижанка. Мнишек обнаружил ее в одном бернардинском монастыре и уговорил поменять келью на королевскую спальню. Он же два раза в день приводил ее к Сигизмунду. Тогда-то Мнишек и стал всемогущ. Он получил право доступа к королю в любое время суток, через него подавались все просьбы и жалобы, адресованные на королевское имя, казна оказалась в полном его распоряжении и день ото дня все более пустела.

Последний флорин исчез из нее в день смерти короля – 7 июля 1572 года. Сигизмунд II умер всеми забытый, и Мнишек оказался на время полным хозяином во дворце. Гово-

рили, что его люди вынесли из королевской сокровищницы несколько мешков с деньгами и такой огромный сундук, что его с трудом могли поднять шесть человек. Казну вычистили так тщательно, что даже не нашлось приличного одеяния, в которое можно было бы облачить останки покойного короля.

Прямых улик против Юрия Мнишека не было – ни тогда, ни потом. Хотя на избирательном сейме сенатор Оржельский с трибуны громогласно обвинил его в воровстве, однако у Юрия нашлись влиятельные защитники и дело замяли. Правда, позорное пятно осталось на нем на всю жизнь.

При Батории значение Мнишека заметно упало. Но Сигизмунд III вернул ему часть его былого могущества, поручив ему Сандомирское воеводство, староство Львовское и управление королевским имением в Самборе. Юрий опять зажил широко и быстро наделал неоплатных долгов. Его мечты были по-прежнему честолюбивы, однако годы брали свое. Видя, что расстроенных дел уже не поправишь, воеводa принялся поправлять свое здоровье и предался религии. В вопросах веры он проявлял такую же беспринципность, как и в мирских делах. В молодости, следуя моде, распространившейся среди литовских панов, он проявлял горячее сочувствие социнианскому учению, но после восшествия на престол Сигизмунда III сделался ревностным католиком, выставляя напоказ глубокую набожность. Он покровительствовал сразу трем влиятельным орденам: доминиканцам, бернардинам (так называли в Польше ту ветвь ордена св. Фран-

циска, которая приняла реформу св. Бернардина) и иезуитам. Для первых двух он построил монастыри – в Самборе и во Львове, а для третьих основал колледж. Особую благосклонность он выказывал по отношению к бернардинам, им он завещал свой прах. Они не остались в долгу. Имя Юрия Мнишека было начертано золотыми буквами в церкви св. Андрея Львовского, а летописи бернардинского ордена пестрили похвалами в его адрес.

Словом, в свои пятьдесят с небольшим лет, сандомирский воевода являл собой типичный образ разорившегося вельможи, настроенного на благочестивый лад и ищущего средств поправить свои дела. Доступ к королевской казне был для него закрыт и у него оставался только один, старый, как мир, способ выпутаться из долгов: выгодно продать своих дочерей. Их у Мнишека было пять, но лишь двое из них достигли к тому времени совершеннолетия – Урсула и Марина, дети от первой его жены, Ядвиги Тарло. Старшая, Урсула, совсем недавно, 13 января 1603 года, вышла замуж за богатого пана Константина Вишневецкого, а младшая, Марина, ждала жениха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.